SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839—1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

- Лидия Карловна Давыдова
  -
  - Глава I
  - Глава II
  - Глава III
  - Глава IV
  - Глава V
  - Глава VI
  - Источники
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18

Лидия Карловна Давыдова Фридерик Шопен. Его жизнь и музыкальная деятельность

Биографический очерк Л. К. Давыдовой

С портретом Шопена

F. Stupski

Глава I

Детство Шопена. – Его ранняя склонность к музыке. – Занятия в лицее. – Первые заграничные поездки.

Фридерик Шопен родился 1 марта 1810 года в имении графа Скарбека Желязова Воля, под Варшавой. Отец его, Николай Шопен, был француз, родом из Лотарингии. В конце восьмидесятых годов восемнадцатого столетия он приехал в Варшаву в качестве служащего одной французской фирмы, торговавшей табаком. Когда дела фирмы расстроились, он начал давать уроки французского языка и в скором времени получил место учителя в одном польском семействе. Польша ему очень нравилась: он женился на польке, принимал деятельное участие в политической жизни страны и чувствовал себя совсем дома в своем новом отечестве. Будучи одним из участников восстания Костюшки, он только благодаря счастливой случайности избег участи, постигшей большинство его товарищей. После подавления восстания, когда нечего было и думать ни о какой общественной деятельности, Шопен ушел в частную жизнь и жил уроками французского языка и тем, что держал пансионеров – по большей части детей из польских аристократических семей. Он был не выдающимся, но хорошим, честным и развитым человеком, интересующимся искусством и литературой. В доме его собирались многие представители варшавской интеллигенции.

Жена его была кроткая, любящая женщина, очень набожная и всецело погруженная в свою домашнюю жизнь и заботы о семье. Муж и жена очень любили друг друга и вкладывали всю свою душу в воспитание детей. В этой мирной атмосфере семейной любви прошли детство и первая молодость Шопена, что оставило неизгладимый след на всем его характере. Он страстно любил свою семью и всегда говорил, что время, проведенное «дома», было лучшим временем в его жизни. Его письма к родным дышат самой искренней нежностью и почтительностью. Он подробно описывает все, что ему приходится переживать, местности, через которые он проезжал, людей, с которыми встречался. Видно, что между Шопеном и его семьей существовало самое тесное общение. С особенной любовью относился он к своей матери: Жорж Санд говорит даже, что мать была его единственной страстью, единственной женщиной, которую он действительно любил, но это, конечно, сильное преувеличение, что доказывается прежде всего его отношениями с той же самой Жорж Санд. Но о Ж. Санд еще много придется говорить впоследствии, а теперь

вернемся к детству Шопена.

Будучи совсем маленьким ребенком, Фридерик не мог выносить музыки: как только он слышал звуки игры или пения, он принимался отчаянно плакать, и немало труда стоило всегда успокоить его. Но это отвращение вскоре сменилось совершенно другим отношением к музыке. Он рано начал бренчать на фортепьяно и обнаружил такие выдающиеся музыкальные способности, что его еще совсем маленьким мальчиком, пяти-шести лет, заставили брать уроки игры на этом инструменте, чему он, впрочем, подчинился очень охотно. Учителем его был Цивни, один из лучших варшавских учителей того времени. Мальчик делал поразительно быстрые успехи и слыл в Варшаве за маленького «enfant prodige» [1]. Ему часто приходилось играть в аристократических домах, с которыми отец его имел сношения через своих учеников.

Фридерику не было еще девяти лет, когда он в первый раз выступил публично в одном благотворительном концерте. Можно себе представить, каким событием в семье был его первый публичный выход. Мальчика одели в красивый костюмчик, с большим кружевным воротником, который доставлял маленькому артисту несказанное удовольствие. Когда после концерта мать спросила его: «Как ты думаешь, что больше всего понравилось публике?», он ответил: «Знаешь, мама, все они смотрели на мой воротник!» Этот наивный ответ показывает, что, несмотря на ранние триумфы в салонах, Шопен в девять лет был еще настоящим ребенком. Но частые посещения варшавской аристократии имели большое влияние на развитие его характера: там он приобрел изящные аристократические манеры настоящего «джентльмена»; там он выработал умение обращаться с людьми и житейский такт; там же он привык придавать такое большое значение внешним формам приличия и впоследствии с ужасом относился ко всему яркому, грубому, резкому. Шопен очень любил аристократические салоны, чувствовал себя там в своей сфере и всегда, в какой бы город ни приезжал, в скором времени попадал в аристократический круг.

Маленький Фридерик был слабым, болезненным ребенком, и уже в силу своей болезненности был лишен свойственных его возрасту игр и физических упражнений. Он рос вместе со своими тремя сестрами и почти исключительно находился в женском обществе, чем отчасти объясняется та почти женственная мягкость, которая всегда составляла отличительную черту его характера.

Сочинять Фридерик начал почти в одно время со своими первыми опытами игры на фортепьяно и раньше, чем он выучился

писать. Он просил своего учителя музыки записывать за него разные приходившие ему в голову мелодии. Сочинял он тогда большей частью мазурки, вальсы и полонезы. Когда ему было десять лет, он посвятил великому князю Константину марш, который был напечатан (но без имени автора) и несколько раз исполнялся военным оркестром. Эти первые опыты в композиции, во всяком случае свидетельствующие о недюжинном даровании мальчика, побудили отца дать ему учителя теории музыки. Но в то время никто еще не думал о том, что Фридерик может сделаться музыкантом: родители смотрели на его страстную любовь к музыке как на естественное увлечение ребенка, которому недоступны разные шумные мальчишеские игры, требующие прежде всего ловкости и силы. Учителем его был выбран Эльснер, директор Варшавской консерватории. Он скоро заметил, что имеет дело с выдающимся учеником, и с большой любовью относился к своим занятиям с ним. Дружеские отношения между ними продолжались и тогда, когда ученик сделался взрослым человеком и далеко перерос своего учителя, и были прерваны только смертью Шопена.

Детство Шопена, как мы уже говорили, было очень счастливым. Он был ласковым, кротким ребенком, уже с ранних лет обнаруживавшим удивительную способность привлекать к себе людей. Его любили все, кто с ним сталкивался. Несмотря на свою болезненность и мягкий характер, он вовсе не был вялым, флегматичным мальчиком и вместе со своими сестрами всегда готов был на всякие шалости и проделки. Одним из любимых занятий детей была игра в театр, причем они сами сочиняли пьесы для своего репертуара. Фридерик всегда играл первую роль в этих домашних спектаклях, и играл так хорошо, что известные в то время актеры, бывавшие в доме его отца, предсказывали ему блестящую будущность на поприще драматического искусства. В особенный восторг всех приводила его мимика; мимический талант сохранился у него и впоследствии.

До пятнадцати лет Шопен учился дома, вместе с пансионерами своего отца, а затем поступил в один из старших классов Варшавского лицея. Он учился очень хорошо и постоянно переходил из класса в класс с наградами; но особенной любви к наукам никогда не чувствовал, а учился хорошо, потому что при его даровитой натуре все давалось ему очень легко, и к тому же дома ему помогали заниматься.

Среди товарищей он скоро сделался общим любимцем за свой веселый, приветливый характер. Особенную популярность в лицее он приобрел своим умением передразнивать и рисовать карикатуры, главной темой для которых, конечно, служили

учителя лицея и его директор.

Из своих товарищей по лицею Шопен особенно подружился с неким Дзевановским и на каникулы поехал с его семьей в их имение Шафарния, расположенное неподалеку от Варшавы. На юношу, воспитанного в городе, это первое пребывание в деревне произвело необыкновенно сильное впечатление: первое время, когда он туда приехал, он целыми днями бродил по лесу и по полям, лежал под деревьями, смотрел на небо и чувствовал себя вполне счастливым. В пятнадцатилетнем мальчике уже сказывался будущий великий поэт звуков.

Но разные эпизоды из его жизни в Шафарнии показывают, что, несмотря на свои поэтические порывы и любовь к природе, Шопен был большим шалуном и что шалости его не всегда имели безобидный характер. Так, например, рассказывают следующую его мальчишескую проделку. Владелец Шафарнии вел переговоры с одним евреем относительно продажи ему ржи. Переговоры кончились обоюдным соглашением, и еврей уехал, обещав через некоторое время привезти деньги. Шопен, узнав об этом, написал старику Дзевановскому письмо, в котором, от имени еврея, отказывался от заключенного между ними условия. Подделка под еврейский жаргон была так хороша и письмо было написано таким ужасным почерком и с таким обилием грамматических ошибок, что Дзевановский попался в ловушку. Не подозревая никакой мистификации, он пришел в необычайную ярость и хотел тотчас же послать за несчастным, ни в чем неповинным евреем и хорошенько задать ему за его мнимое вероломство, но Шопен, видя, что дело заходит так далеко, поспешил вывести его из заблуждения.

Свои письма к родным Шопен составлял в виде еженедельной газетки, называемой «Курьер Шафарский». Сохранилось несколько номеров этой газетки. В них довольно остроумно описываются разные мелочи повседневной деревенской жизни. Цензором «Курьера Шафарского», неизменно прилагавшим к нему свою печать, была Луиза Дзевановская, сестра товарища Шопена.

Занятия в лицее не мешали ему посвящать много времени своей музыке. Он делал такие быстрые успехи в фортепьянной игре, что с двенадцати лет Цивни перестал давать ему уроки, находя, что больше ничему не может научить его. Будучи предоставлен самому себе, Шопен продолжал очень много работать. Рассказывают, что еще в детстве, для того чтобы быть в состоянии брать разные особенно нравившиеся ему аккорды, он решил растянуть свои руки и с этой целью устроил себе между пальцами какое-то приспособление, которое не снимал даже ночью. Эти аккорды, ради которых он в детстве подвергал себя

таким истязаниям, были те самые, которые впоследствии сделались одной из характеристических особенностей его сочинений.

С самой ранней молодости у него начала проявляться удивительная способность к импровизации, благодаря которой он впоследствии пожинал так много лавров. Игра его тогда уже производила на слушателей необыкновенно-обаятельное впечатление. Для маленьких детей, пансионеров его отца, не было большего удовольствия, чем когда Фридерик садился за фортепьяно и под музыку рассказывал им разные истории, по большей части тоже своего собственного сочинения.

Однажды, когда отца его не было дома, дети подняли страшную возню и учитель не знал, что ему с ними делать. Фридерик случайно вошел в это время в комнату и, увидев взволнованного и рассерженного учителя, тщетно старающегося водворить порядок в своем маленьком царстве, решил прийти ему на помощь.

Собрав вокруг себя детей, он сказал им, чтобы они все уселись и сидели смирно, и он расскажет им сказку. Дети тотчас же послушались, и вскоре в зале воцарилась полная тишина. Фридерик сел за фортепьяно, потушил свечи (он всегда импровизировал в темноте) и начал играть, сопровождая свою игру рассказом. Он рассказывал, как разбойники приближались к дому, как они хотели влезть в окно, но испугались начавшегося в доме движения, ушли в темный лес и там заснули под звездным небом. Он играл все тише и тише, точно хотел убаюкать своих слушателей; и действительно, все эти разгоряченные возней ребятишки мало-помалу начали засыпать, как вдруг громкий, звенящий аккорд снова пробудил их.

1825 год был знаменательным годом в жизни Шопена. В этом году шестнадцатилетний мальчик второй раз выступил публично в одном концерте и, кроме того, играл в присутствии императора Александра I, который остался очень доволен игрой молодого артиста и подарил ему на память перстень с большим бриллиантом. Наконец в этом же году было напечатано его первое музыкальное произведение. В посмертном издании сочинений Шопена есть вещи, написанные ранее этого времени, например, полонез, помеченный 1822 годом, когда ему, следовательно, было всего тринадцать лет. Но первой вещью, которую он сам и его учитель сочли достойной появиться в печати, было Rondeau C-moll, посвященное госпоже Линде, жене одного из приятелей его отца, с которой Шопен часто играл в четыре руки.

Страсть к композиции все более и более овладевала юношей.

Когда перед ним вставали какие-нибудь музыкальные образы, он совсем преображался, уходил в себя, делался молчаливым и задумчивым и по целым дням ходил взад и вперед по своей комнате, весь погруженный в таинственный процесс творчества, происходивший в его душе. Иногда ночью, когда все в доме спали, он внезапно вскакивал с постели, подбегал к своему фортепиано и брал один за другим отрывочные аккорды. Это приводило в большое недоумение прислугу, которая никак не могла понять, зачем это молодой господин ночью по несколько раз принимается играть. Они решили между собой, что он, наверное, начинает сходить с ума.

Фридерик так много работал, занимаясь музыкой и проходя в то же время курс в лицее, что в семнадцать лет у него сделалось нервное переутомление и он на лето поехал с матерью и сестрами на воды в Рейнерц. Здесь ему пришлось дать свой первый собственный концерт. Случилось это так. В Рейнерце умерла одна бедная вдова, оставив двоих детей буквально ни с чем, так что не на что было даже похоронить ее. Услышав об этом, Фридерик решился помочь сиротам и дал в их пользу концерт, которым выручил довольно порядочную сумму.

Из Рейнерца Шопен поехал на некоторое время в имение к своей крестной матери, госпоже Веселовской, и там познакомился с князем Радзивиллом, представителем одной из самых древних аристократических фамилий Польши и большим любителем и знатоком музыки. В его доме собирались все приезжавшие в Польшу выдающиеся артисты. Он пришел в восторг от игры Шопена, приглашал его к себе и, будучи в Варшаве, сам несколько раз заходил к нему. Шопен раза два ездил погостить в его поместье Антонин в Познани. Затем они встретились уже в Париже. Этим и ограничиваются все сношения Шопена с князем Радзивиллом. Никакого покровительства или денежной поддержки князь ему не оказывал.

Лист в своей книге о Шопене, написанной вскоре после смерти последнего, писал, что Шопен воспитывался на средства князя Радзивилла, который будто бы также дал ему денег на поездку за границу. Но это совершенно неверно, и все позднейшие биографы Шопена решительно отрицают этот факт. Родители Шопена были люди небогатые, но вполне достаточные и во всяком случае были в состоянии дать своему сыну надлежащее образование. Из заграничных писем его к отцу ясно видно, что он жил только на его средства: он часто сетует, что ему стыдно брать так много денег и что родные должны так много на него тратить. После выхода в свет книги Листа семья Шопена печатно заявила, что они никогда не пользовались никакой материальной

поддержкой князя Радзивилла.

Восемнадцати лет Шопен окончил Варшавский лицей. Выпускные экзамены он сдал не так блистательно, как обыкновенно сдавал переходные экзамены из класса в класс: музыка отнимала у него слишком много времени. Родители его, которые сначала смотрели на своего сына как на даровитого дилетанта и не придавали особенного значения его музыкальным занятиям, мало-помалу пришли к убеждению, что он рожден был артистом, и решили дать ему возможность сделать из себя настоящего музыканта. По окончании лицея Шопен мог всецело отдаться музыке. Стол его был завален множеством новых произведений, частью уже отделанных, частью только начатых.

Он вскоре перерос всех варшавских музыкантов, и его страшно начало тянуть в какой-нибудь крупный музыкальный центр, где бы он мог увидеть и услышать великих музыкантов своего времени и у них поучиться. Но родители сначала никак не могли решиться надолго отпустить своего болезненного и изнеженного сынка одного за границу, а послали его только на две недели в Берлин, вместе с их старым другом, профессором Яроцким, который отправлялся туда на конгресс естествоиспытателей. Поездка эта решилась совершенно неожиданно для самого Шопена, и он был в необычайном восторге от такого внезапного осуществления его заветной мечты.

Он пишет своему другу Войцеховскому (о котором еще будет речь ниже): «Пишу тебе как сумасшедший, потому что я сам не понимаю, что со мной делается. Сегодня я еду в Берлин! Я пробуду там всего две недели, но этого достаточно, чтобы услышать хорошую оперу в законченном исполнении».

Поездка в Берлин была первым большим путешествием молодого Шопена, который до сих пор никогда не выезжал из пределов Польши. Поэтому все, что попадалось ему на пути, было для него ново и казалось интересным и занимательным. Он сообщает родным свои наблюдения над попутчиками и пишет, что за эту дорогу коллекция его карикатур значительно увеличилась. Попутчики казались ему актерами, разыгрывавшими смешную комедию, и он, с сознанием своего превосходства над ними, этой комедией забавлялся.

Берлин не вполне оправдал его ожидания: ему не удалось познакомиться ни с кем из местных выдающихся музыкантов. Профессор Яроцкий оказался не особенно приятным спутником для молодого человека, жаждавшего прежде всего услышать как можно больше музыки и увидеть как можно больше музыкантов. Яроцкий же был совершенно поглощен конгрессом естествоиспытателей и вместо концертов водил Шопена по

зоологическим кабинетам и доставал ему билеты на обеды членов конгресса, что было тому совсем не по душе. Естественные науки его совершенно не интересовали, а жрецы науки казались скучными и односторонними и шокировали его эстетическое чувство своими неизящными манерами. Он пишет родным: «Сегодня будет обед у Гумбольдта. Яроцкий хотел достать и для меня пригласительный билет, но я отказался, потому что не нахожу особенного интереса для себя в таких собраниях: я для этого недостаточно учен. К тому же записные ученые, наверное, с некоторым недоумением стали бы смотреть на меня, непосвященного, и думали бы: каким образом очутился Саул среди пророков? Уже за первым обедом мне казалось, что мой сосед, известный гамбургский профессор ботаники, несколько странно на меня посматривал. Меня поражали его сильные руки: он с необыкновенной легкостью разламывал громадный кусок белого хлеба, с которым я еле справлялся при посредстве обеих рук и ножа. Он разговаривал через стол с профессором Яроцким и в пылу увлечения дошел до такой рассеянности, что по ошибке вместо своей тарелки залез в мою и начал по ней барабанить пальцами. Настоящий ученый, не правда ли? И нос у него соответственный – огромный, безобразный. Во время этой барабанной игры я сидел как на иголках и, как только он кончил, старательно принялся вытирать следы его пальцев на своей тарелке».

Этот отрывок очень характерен. Он показывает, как даже в ранней молодости, когда люди обыкновенно не придают особенного значения разным внешним приемам вежливости и приличия, Шопен был щепетилен на этот счет и как его шокировали разные мелкие неловкости и угловатости. Вместо того, чтобы просто посмеяться над рассеянностью старика профессора, он «сидит как на иголках», и по тону письма видно, что он чувствовал к нему даже некоторую враждебность. Такое отношение к людям всегда было одной из отличительных черт его натуры. Ж. Санд говорит, что он способен был возненавидеть человека из-за какого-нибудь совершеннейшего пустяка, на который никто, кроме него, не обратил бы и внимания.

От берлинской музыки Шопен был в восторге. Он несколько раз бывал в опере и в концертах и в первый раз услышал тут одну из ораторий Генделя, которая произвела на него громадное впечатление; по его словам, эта оратория более всего из слышанного им до сих пор приближалась к его идеалу возвышенной музыки.

На возвратном пути в Варшаву, по случаю перепряжки лошадей, Шопену и его спутнику пришлось ждать целый час в

маленьком городке Цулишау. Шопен, от нечего делать, принялся бродить по гостинице, в которой они остановились, и вдруг, к своему большому удивлению и радости, наткнулся в одной из приемных комнат на рояль. За весь длинный путь от Берлина до Варшавы Шопен был лишен возможности играть на фортепьяно и, увидев здесь инструмент, который к тому же оказался хорошо настроенным, он тотчас же уселся за него и принялся играть. Звуки его игры мало-помалу начали привлекать слушателей: пришел один из его попутчиков по омнибусу, который во время дороги уверял, что самое большое наслаждение в жизни – это курение и что он скорее готов умереть, чем расстаться со своей трубкой; пришли другие попутчики; наконец, пришел сам хозяин гостиницы со своей толстой, как шар, супругой и двумя хорошенькими дочерьми. Все замерли как очарованные, слушая увлекательную, поэтическую игру незнакомого им человека. У любителя курения потухла его возлюбленная трубка, и он был так поглощен музыкой, что даже не замечал этого.

Шопен весь отдался своей импровизации и играл все нежнее и вдохновеннее, как вдруг раздался резкий окрик кондуктора: «Лошади поданы, господа». Все слушатели с негодованием набросились на кондуктора за его непрошенное появление. Шопен вскочил со своего места и хотел идти, но все обступили его и начали упрашивать продолжать игру.

"…Но ведь мы и так сидим здесь более часа и скоро должны уже быть в Познани», – отговаривался молодой пианист. «Останьтесь и поиграйте еще немного, – убеждал его хозяин, – я дам вам курьерских лошадей, и вы поспеете как раз вовремя». Хозяйка, ее хорошенькие дочки и прочие попутчики присоединились к этой просьбе. Шопену не оставалось ничего другого, как согласиться. Он сел опять за рояль и продолжал игру, к великому удовольствию своих слушателей. Когда он кончил, все наперебой стали выражать ему свой восторг. Один из присутствовавших подошел к нему и со слезами на глазах сказал: «Я старый музыкант и тоже немного играю на фортепиано, и поэтому могу оценить вашу удивительную игру. Если бы Моцарт слышал вас, он пожал бы вам руку и сказал: браво! Я же, незначительный человек, не смею этого сделать».

Хозяин на радостях угостил всех вином и пирожными, а дочери его наполнили дорожную сумку артиста всевозможными лакомствами. Когда же он на прощание сыграл еще мазурку, то восторг публики достиг крайних пределов: хозяин, который был громадного роста, схватил молодого Шопена на руки и на руках отнес в омнибус.

Впоследствии Шопен очень любил вспоминать про этот

эпизод и считал его хорошим предзнаменованием для своей начинающейся музыкальной карьеры. Композитор часто рассказывал, как он, подобно менестрелям старого времени, странствовавшим с лютней из города в город, своей игрой заработал себе в Цулишау пирожки, фрукты и вино. Он говорил также, что самые большие восхваления печати не были ему так приятны, как наивный восторг того любителя курения, который в увлечении его игрой даже забыл про свою трубку.

Вернувшись в Варшаву, Шопен опять принялся за свои занятия, но ему уже не сиделось дома. Берлин с его чудной музыкой не выходил у него из головы; его скоро опять начало тянуть за границу, и через несколько месяцев он, в сопровождении своих товарищей, снова отправился путешествовать. Целью его странствования на этот раз была Вена. Отец и Эльснер убеждали молодого пианиста дать в Вене свой концерт, но он не мог сразу на это решиться. Перспектива играть в городе, который слышал Бетховена и Моцарта, несколько смущала его.

Вена встретила его очень приветливо. У него были рекомендательные письма ко многим представителям венского музыкального мира, которые отнеслись к нему очень дружески и остались в восторге от его игры. «Я не могу понять, что это значит, но здесь многие мне удивляются, а я удивляюсь этим людям, которые находят чему удивляться во мне», – пишет Шопен своим родным. Он скоро познакомился с разными выдающимися венскими музыкантами и проник в аристократические салоны, где его везде принимали очень любезно и восхищались его игрой. Светские успехи чрезвычайно радовали молодого артиста, и он с наивным, мальчишеским тщеславием пишет родным: «Все журналисты с удивлением смотрят на меня, и музыканты из оркестра почтительно кланяются мне, видя, как я гуляю под руку с директором итальянской оперы».

Новые знакомые в один голос уговаривали Шопена дать свой концерт. Издатель его сочинений особенно настаивал на этом, находя, что для успеха музыкальных произведений очень важно, чтобы автор сам сыграл их для публики. Шопен долго колебался, но наконец решился. Концерт прошел с блестящим успехом, хотя многие из публики нашли, что он играет слишком нежно и тихо. Эти качества навсегда остались отличительными чертами Шопена как виртуоза. В его игре не было той могучей силы, тех резких, ярких эффектов, которые создают успех в большой публике. Он был артистом «для немногих». Хотя всегда, когда он выступал, он имел большой успех, но это был скорее succès d'estime[2]: публика чувствовала в нем оригинальный, большой талант и ей нравились

изящество и поэтичность его игры, но увлечь за собою массу, наэлектризовать ее и заставить, как одного человека, разразиться восторженными аплодисментами, – этого Шопену никогда не удавалось. Поэтому он так рано отказался от карьеры виртуоза.

Но как бы то ни было, а в Вене Шопен имел для начинающего пианиста большой успех и сам был им вполне доволен. Особенно дамы были в восторге от молодого артиста и его игры: Шопен всегда очень нравился женщинам. Он с некоторым волнением ожидал отзывов прессы и писал родителям: «Если газеты меня так разбранят, что мне будет стыдно показываться людям на глаза, то я решил сделаться маляром. Это очень легкое искусство, и, занимаясь им, все-таки остаешься художником».

Но осуществлять это скромное решение не было надобности, потому что газеты его чрезвычайно расхвалили, и, под влиянием общих одобрений и убеждений друзей, Шопен дал в Вене второй концерт, который тоже прошел с большим успехом.

Вообще Шопен остался доволен своим пребыванием в Вене. Он завязал массу знакомств, проводил время очень разнообразно и приятно и выслушивал много лестных для себя вещей. Успех его концертов совершенно опьянил его. В письме к родным, написанном на другой день после второго концерта, он подробно описывает все, что ему пришлось пережить за это время, и в конце прибавляет: «Право, я хотел писать совсем о другом, но вчерашний день не выходит у меня из головы».

На возвратном пути в Варшаву Шопен с товарищами заезжал в Прагу и Дрезден. Там он тоже познакомился с местными музыкантами, везде находил самый радушный прием и писал родным веселые, счастливые письма. Вообще это путешествие было одним из самых светлых периодов в его жизни.

Глава II

Жизнь Шопена в Варшаве. – Его душевное состояние. – Дружба с Титом Войцеховским. – Первая любовь Шопена. – Отъезд из Польши.

Вернувшись в Варшаву, Шопен опять зажил прежней жизнью, то есть играл, сочинял и много бывал в обществе.

Он жил в маленькой комнатке в верхнем этаже, в стороне от всех других. Там стоял его рояль и старый письменный стол, заваленный нотной бумагой. Впоследствии он часто вспоминал эту маленькую комнатку, где проводил столько хороших часов за работой или в обществе друзей, приходивших к нему поболтать и послушать его новые произведения. У него было много товарищей и друзей. Лист описывает Шопена сдержанным, замкнутым в себе человеком, который был мил и приветлив со всеми, но дружен не был ни с кем и никому не давал заглянуть в свою душу. Но Шопен не всегда был таким, каким знал его Лист. Этот загадочный, всегда проникнутый какой-то тихой грустью человек в свои молодые годы был живым, увлекающимся юношей и имел близких людей, с которыми был вполне откровенен. Дружба его носила даже восторженный, романтический характер. Приведем несколько отрывков из писем Шопена к его лучшему другу, Титу Войцеховскому, с которым он остался дружен в течение всей своей жизни. Если бы не знать, к кому относятся эти письма, можно было бы подумать, что это пишет страстно-влюбленный предмету своей любви:

Декабрь 1818 г.

"…Если я пишу сегодня так много глупостей, то делаю это, только чтобы напомнить тебе, что ты по-прежнему близок моему сердцу и что для тебя я все тот же Фридерик, каким был раньше».

Май 1830 г.

"…Ты не имеешь понятия о том, как я люблю тебя! Если бы я только как-нибудь мог доказать тебе это! Чего бы я ни дал, чтобы опять быть с тобой и хорошенечко расцеловать тебя!»

Сентябрь 1830 г.

"…Я не хотел бы путешествовать с тобой, потому что с особенным наслаждением думаю о том моменте, когда мы с тобой встретимся в дороге. Одна эта минута будет стоить тысячи однообразных дней, проведенных вместе в путешествии».

Апрель 1830 г.

«Когда я пишу что-нибудь, мне всегда ужасно хочется знать, как оно тебе понравится. Мой второй концерт не будет иметь для меня никакого значения до тех пор, пока ты его не услышишь и

не одобришь».

Первая любовь Шопена имела такой же романтический, мечтательный характер, как его дружба. Предметом этой любви была одна молоденькая ученица Варшавской консерватории, Констанция Гладковская. Она была очень хороша собой и ее чистый, девический облик наполнял душу молодого артиста восторженным поклонением. В первый раз он упоминает о своей любви в одном письме к Войцеховскому (3 октября 1829 года). Он пишет ему:

"…Не думай, что я влюблен в m-lle Блахет (одна молодая пианистка, жившая в Вене). Я уже нашел – может быть, к моему несчастью – свой идеал, которому глубоко и благоговейно поклоняюсь. Уже шесть месяцев я влюблен в нее и до сих пор не сказал с ней ни единого слова, но вижу ее во сне каждую ночь. Думая о ней, я писал Adagio своего концерта, и сегодня утром она вдохновила меня для этого вальса, который я тебе посылаю».

Уже по этим строчкам видно, сколько романтизма было в первой любви Шопена: он в течение шести месяцев довольствовался молчаливым обожанием издалека и даже не пытался познакомиться с ней, хотя для него это было бы совсем не трудно, потому что она была ученицей Варшавской консерватории и Шопен был хорошо знаком с ее профессором пения. Через него он впоследствии с ней и познакомился. По-видимому, он не столько любил саму молодую девушку, сколько свою любовь к ней, те страдания, которые она ему доставила. Для него она была предлогом «для тайных дум, мучений и блаженства», которые были ему необходимы для творчества. Он любил ходить в ту церковь, где она обыкновенно бывала, и там смотрел на нее, пока она молилась. Часто потом он вспоминал об этих минутах.

Ни один из биографов Шопена ничего не сообщает о самой Констанции Гладковской. Что она была за личность – неизвестно. Известно только, что она была очень красива и что у нее был прекрасный голос. С любовью к ней в жизни Шопена начинается новый период: талантливый мальчик превращается в великого артиста и тоскующего поэта и пишет свой бессмертный концерт F-moll. (Op. 21)[3]. Сам Шопен писал об Adagio этого концерта:

«Adagio» имеет романтический, спокойный, частью меланхолический характер. Оно должно производить такое впечатление, как будто видишь перед собой любимый пейзаж, вызывающий в душе дорогие воспоминания, как, например, в тихую, озаренную лунным светом, весеннюю ночь. Концерт F-moll – одно из лучших, наиболее поэтических сочинений Шопена. Лист говорит, что в нем есть места «поразительного величия» («d’une

qrandeur surprenante»), а Шуман восклицает: «Что значат десять премированных сочинений по сравнению с одним таким Adagio!»

Настроение Шопена в этот период его жизни было самое переменчивое. Никаких сколько-нибудь основательных причин для мрачности у него не было: он был молод, привлекателен, талантлив, творчество доставляло ему величайшее наслаждение; все кругом любили его, он был влюблен и пользовался взаимностью – словом, все ему улыбалось. Но Шопен был слишком талантлив, у него была слишком тонкая, болезненно-впечатлительная нервная организация, чтобы быть вполне счастливым. Несмотря на все благоприятные внешние условия, у него бывали тяжелые минуты, когда он казался себе самым несчастным человеком на свете и впереди ему рисовались одни бесконечные страдания. И он не гнал от себя такое настроение; напротив того, он любил погружаться в него и испытывал при этом какое-то особенное, мучительное блаженство. Все это было необходимо для его творчества.

Что без страданий жизнь поэта
И что без бури океан?

Он пишет Войцеховскому: «Я кажусь веселым, особенно когда нахожусь среди людей, но внутри меня что-то грызет, тяжелые предчувствия, беспокойство, нехорошие сны, бессонница, тоска, равнодушие ко всему на свете… Потом опять является жажда жизни, хочется работать, стремиться к чему-то. Часто мне кажется, что дух мой замирает, я испытываю невыразимо-блаженную тишину в душе, передо мной проносятся картины, от которых я не могу оторваться, и это мучает меня безмерно. Вообще – смесь всевозможных чувств, трудно поддающихся описанию». Через некоторое время он опять пишет Войцеховскому: «О, как грустно не иметь никого, с кем бы можно было делить радости и горе! Как ужасно чувствовать свое сердце удрученным, когда некому излить своих жалоб! Как часто я рассказываю своему роялю то, что хотел бы рассказать тебе!.. Как я был рад, когда получил письмо от тебя! Твои письма всегда успокаивают меня, а сегодня мне это было нужнее, чем когда-либо. Я хотел бы прогнать от себя мысли, которые отравляют мою жизнь, и в то же время мне почему-то нравится погружаться в них… Как часто я обращаю ночь в день и день в ночь, живу во сне, и сплю днем, нет, не сплю, а мучаюсь, потому что и во сне я испытываю то же самое, и вместо того, чтобы освежать, эти сны только еще более изнуряют и томят меня».

Если судить по вышеприведенным отрывкам, то можно было

бы думать, что жизнь Шопена была непрерывным рядом терзаний. А между тем это было совсем не так. Грустное настроение, которое временами овладевало душою Шопена, не мешало ему в другое время искренне веселиться, давать концерты и радоваться своим успехам, болтать всякий вздор и даже с увлечением танцевать мазурку. Нельзя не подивиться необыкновенной подвижности его настроения, когда читаешь, например, следующее письмо, написанное в том же самом году, что и те мрачные письма, выдержки из которых только что были приведены. Он пишет Войцеховскому:

"…Часто случается, что, когда человек хочет улучшить мнение других о себе, он только ухудшает его; но мне кажется, что касается наших с тобой отношений, я не могу ни улучшить, ни ухудшить твоего мнения обо мне. Любовь моя к тебе должна возбуждать и в твоем сердце такие же чувства ко мне. Если кто-нибудь вошел в мою душу, я не допущу, чтобы его от меня взяли, как деревья не отдают своего покрова из зеленых листьев, который придает им прелесть молодости. У меня всегда будет зелено, даже и зимой, то есть хочу сказать, в моей душе… Но – да поможет мне Бог! – в душе у меня величайший жар, поэтому не удивляйся, что получается такая роскошная растительность. Ну, довольно… твой навсегда… Я только теперь заметил, что наговорил кучу глупостей. Это потому, что я еще нахожусь под впечатлением вчерашнего вечера. Я чувствую себя усталым и сонным, оттого что слишком много танцевал мазурку… Твои письма я перевязываю ленточкой, которую мой идеал однажды дал мне. Я рад, что эти безжизненные предметы – письма и ленточка – так хорошо подходят друг к другу; очевидно, хотя они и не знают друг друга, они чувствуют, что пришли ко мне от двух самых дорогих для меня людей».

Трудно представить себе, чтобы это бессвязное, мальчишески веселое письмо было написано тем самым Шопеном, который в том же году писал свой концерт F-moll.

Уже через год после своего возвращения из Вены Шопен начал поговаривать об отъезде за границу. Он чувствовал себя не на своем месте в Варшаве, для развития его таланта ему необходимо было жить в каком-нибудь музыкальном центре. Родители Шопена тоже понимали это и из любви к сыну соглашались на разлуку с ним. Отъезд его принципиально был решен, но Шопен долгое время никак не мог собраться уехать. С марта 1830 года он постоянно пишет Войцеховскому, что уезжает на следующей неделе и в конце концов остается в Варшаве до 1 ноября 1830 года. Эти длинные проволочки, кроме свойственной Шопену нерешительности, объясняются и тем, что ему

действительно было очень трудно расстаться с Варшавой. Несмотря на то, что он постоянно жаловался на нее и находил, что она не выдерживает никакого сравнения с Берлином и Веной, ему все-таки очень хорошо жилось здесь в кругу боготворившей его семьи и многочисленных друзей. Ему страшно было уехать из своего теплого гнездышка и поселиться где-нибудь в далеком, чужом городе. В Варшаве он считался одним из лучших виртуозов, публика очень любила его, и в концертах он всегда выступал с большим успехом.

Любовь к Констанции тоже была одной из причин, удерживающих Шопена в Варшаве. Сначала он непременно хотел дождаться ее дебюта в опере. Дебют прошел с большим успехом, и Шопен восторженно писал Войцеховскому, что со сцены она была прекраснее, чем когда-либо, что голос ее звучал восхитительно и игра не оставляла желать ничего лучшего. После этого дебюта влюбленность его еще возросла, и он опять стал откладывать свой отъезд, хотя сам сознавал, что медлить ему нечего. Все это приводило его в самое дурное расположение духа. Он пишет Войцеховскому: «Я говорю тебе, что с каждым днем делаюсь все более и более сумасшедшим. Я все еще сижу здесь и не могу решиться назначить окончательно день отъезда. У меня какое-то предчувствие, что я уезжаю из Варшавы, чтобы больше не вернуться сюда; я убежден, что навсегда прощаюсь с моим домом. О, как грустно, должно быть, умирать не в том месте, где родился! Как мне было бы тяжело вместо родных, дорогих мне лиц видеть около себя в предсмертный час равнодушного доктора и наемного лакея! Если бы ты знал, как мне иногда хочется прийти к тебе, чтобы успокоить свою удрученную душу! Но так как это невозможно, то я часто, сам не знаю зачем, иду бродить по улицам. Но и там тоска моя не утихает, и я опять возвращаюсь домой, чтобы снова начать томиться».

Предчувствия не обманули Шопена: он действительно навсегда прощался со своей родиной.

К внутренней нерешительности Шопена присоединились еще и внешние обстоятельства, затруднявшие его отъезд за границу. Дело было в 1830 году, и, вследствие политических неурядиц, наступивших после Июльской революции, поездка за границу была сопряжена с разными препятствиями: получить заграничный паспорт было нелегко.

Наконец Шопен собирается *с* духом и действительно решается уехать. Он пишет Войцеховскому: «Я твердо и бесповоротно решил уехать в субботу, через неделю; с нотами в чемодане, с некой ленточкой на груди и печалью в сердце – в таком виде я сяду в почтовую карету. Само собой разумеется, что

по городу будут течь ручьи слез от Коперника до Фонтана и от банка до колонны Сигизмунда, но я буду холоден и бесчувствен, как камень».

Перед отъездом Шопен дал в Варшаве прощальный концерт, который был настоящим триумфом для молодого артиста. В нем принимала участие и Гладковская, и, по мнению Шопена, никогда она не пела так хорошо, как в тот раз. Необыкновенный успех концерта несколько смягчил для него горечь разлуки с родиной, семьей и любимой девушкой.

1 ноября 1830 года он уехал наконец из Варшавы и, сам того не зная, уехал с тем, чтобы никогда больше сюда не возвращаться. Проводы молодого артиста были очень горячие и сердечные. Эльснер и многие друзья проводили его до ближайшей деревни. Там их ждали ученики консерватории, которые пропели отъезжающему кантату, сочиненную для этого случая Эльснером. За устроенным тут же торжественным завтраком Шопену, от имени всех присутствующих, поднесли наполненный землей золотой бокал, который он должен был взять с собой на память о родине. Эльснер сказал ему напутственную речь, которую закончил следующими словами: «Никогда не забывайте своей родины, никогда не переставайте любить ее, где бы вы ни жили и ни странствовали. Помните Польшу, помните своих друзей, которые с гордостью считают вас своим соотечественником и ждут от вас великих дел и чьи молитвы и пожелания всюду будут сопровождать вас».

Будущее показало, насколько Шопен оправдал эти надежды, возлагаемые на него друзьями и соотечественниками.

Глава III

Жизнь Шопена в Вене. – Польское восстание и впечатление, произведенное им на Шопена. – Переезд в Париж. – Сближение с тамошними музыкантами. – Характеристика Шопена, сделанная Листом. – Прекращение карьеры виртуоза. – Отношение к женщинам.

По дороге в Вильну Шопен встретился с Войцеховским, и они вместе продолжали путь. Они проехали через Бреславль и на несколько дней остановились в Дрездене. Дрезден им очень понравился. У Шопена были рекомендательные письма к некоторым жившим там полякам, и он вскоре познакомился со всей польской колонией. Он весело описывает родителям музыкальный вечер у одного из дрезденских меценатов: «Когда я вошел в залу, то мне бросилось в глаза не сверкание бриллиантов, а более скромный блеск вязальных спиц, которые с невероятной быстротой двигались в руках у сидевших вокруг стола дам. Количество дам и вязальных спиц было так велико, что если бы эти дамы задумали сделать нападение на мужчин, то последним пришлось бы потерпеть постыдное поражение. Им не осталось бы другого выхода, как пустить в ход свои очки, превратив их в оружие. Очков и лысин на этом вечере тоже было достаточно».

Очень понравилась ему Дрезденская опера и в особенности знаменитая картинная галерея. Он говорил, что если бы жил здесь, то каждую неделю ходил бы в картинную галерею, «потому что там есть такие удивительные картины, глядя на которые кажется, что слышишь музыку».

Шопен так приятно проводил время в Дрездене, где у него вскоре образовался довольно обширный круг знакомств, что пробыл там дольше, чем предполагал, и приехал в Вену только в конце ноября. Здесь он рассчитывал дать несколько концертов и затем поехать месяца на два в Италию. Но обстоятельства сложились иначе. Успех его первых двух концертов несколько вскружил ему голову, и он воображал, что Вена встретит его с распростертыми объятиями. Но впереди его ждали горькие разочарования: впечатление, которое он произвел в первый свой приезд, оказалось не так сильно, как он этого ожидал, и с тех пор его успели совсем забыть. Ему предстояло еще создавать себе репутацию, а на это он был совершенно не способен. Шопен не был создан для борьбы; пробиваться вперед, делать себе карьеру, преодолевать препятствия – все это было совершенно не в его натуре. Малейшая неприятность раздражала его, малейшая

неудача повергала в полнейшее уныние.

Первое время после своего приезда он был очень доволен Веной: шумная уличная жизнь и особенно хорошенькие венки чрезвычайно ему нравились. Но вскоре начались неприятности. Издатель его сочинений Газлингер, которому он привез еще две вещи, принял его очень любезно, но заявил, что новых вещей печатать не будет. Шопен пишет по этому поводу своим родным: «Газлингер, очевидно, думает, что если он будет так пренебрежительно относиться к моим сочинениям, то я буду ему благодарен уже за то, что он их напечатает, не платя мне за них денег. Но я решил, что больше ничего не буду делать даром. Отныне моим девизом будет: плати, животное!» Но этот решительный девиз не помог молодому артисту: «животное» ничего ему не заплатило и не напечатало его сочинений.

Это была первая неудача, постигшая Шопена в Вене. За ней последовали другие. Многих его прежних знакомых не было в городе, другие были больны, и все, так по крайней мере казалось Шопену, охладели к нему. Музыкальный сезон был в самом разгаре, в Вену наехала масса пианистов, и Шопен мало-помалу пришел к убеждению, что ему лучше на время оставить мысль о своем концерте.

В это время вспыхнуло польское восстание тридцатого года. Шопен был страшно потрясен этим событием. Войцеховский тотчас же уехал в Польшу. Шопен хотел ехать вместе с ним и тоже присоединиться к «повстанцам», но потом уступил просьбам родных, умолявших его остаться за границей и доказывавших ему, что при его слабом здоровье он бы не вынес военной службы. Шопен покорился и решил остаться; когда же Войцеховский уехал, его так потянуло на родину, что он взял почтовых лошадей и поехал вдогонку за своим другом; но не успел догнать его и должен быть вернуться обратно.

Тяжелое время настало для Шопена. Он был большой патриот, и мысль о том, что делается теперь в его родной стороне, не давала ему покоя; о концерте своем он не мог уже хлопотать; не до того ему было. Он пишет родителям: «С тех пор как я узнал об ужасных событиях, происходящих на родине, мысли мои исключительно заняты ею и беспокойством за вас, мои дорогие. Мальфати тщетно старается доказать мне, что артист должен быть космополитом. Если бы даже это было и так, то как артист я еще новорожденный ребенок, а как взрослый человек – я поляк, и поэтому вы, конечно, поймете, что я не могу теперь думать об устройстве своего концерта». Через некоторое время он пишет Войцеховскому: «Я мог бы умереть за вас! О, почему я должен оставаться здесь, одиноким и покинутым! Вы там по

крайней мере можете делиться друг с другом своими чувствами и находить в этом удовлетворение. Воображаю, как твоя флейта теперь плачет! Но мое фортепьяно имеет еще более причин для рыданий!»

Он был в совершенной нерешительности относительно того, что ему теперь делать. В это трудное время свойственный ему недостаток энергии и инициативы выявился особенно резко. Он находился в самом беспомощном состоянии и решительно не знал, куда ему ехать и как ему быть: «Должен ли я ехать в Париж? Должен ли я вернуться домой? Должен ли я остаться в Вене? Должен ли я убить себя?» – пишет он Матушинскому, который после Войцеховского был его самым близким другом.

Из всех этих представлявшихся ему путей Шопен выбрал самый легкий – остался в Вене. У него вскоре завелось очень много знакомых, особенно среди поляков; он часто бывал в обществе, надеясь там рассеяться и заглушить гнетущую его тоску по родине. Светская жизнь отнимала у него так много времени, что он совсем не успевал заниматься и за все восемь месяцев, проведенных в Вене, не написал почти ничего, кроме нескольких безделушек. Но светские развлечения не могли заставить его забыть о том, что происходило на родине. Он пишет Матушинскому: «Бесчисленное множество обедов, вечеров, концертов и балов, где я должен бывать, только раздражает меня. Мне ужасно грустно, и я чувствую себя таким одиноким и несчастным! Я не могу жить так, как мне бы хотелось. Я должен одеваться и с веселым видом появляться в салонах. Когда же я возвращаюсь к себе, я сажусь за фортепьяно, которое здесь, в Вене, является моим лучшим другом, и открываю ему все свои страдания. У меня нет никого, с кем я мог бы быть откровенным, и все-таки я должен приветствовать всех как друзей».

Любовь его к Констанции очень усилилась от разлуки. Расстояние, которое разделяло их, делало ее еще более привлекательной в его глазах. Письма его к Матушинскому, бывшему посредником между ними, полны самой нежной заботы и любви к ней. Он очень беспокоится о ее здоровье, говорит, что ему до боли хочется ее видеть, что он не знает, как будет жить без нее. Всегда несколько склонный к меланхолии, Шопен теперь, под влиянием всех гнетущих его обстоятельств, все более и более поддается мрачному настроению. Следующий отрывок из его письма к Матушинскому лучше всего характеризует состояние его духа: "…Вчера я обедал у г-жи Бейер, которую тоже зовут Констанцией. Я люблю бывать у нее уже потому, что она называется этим бесконечно дорогим для меня именем; я всегда бываю счастлив, когда мне попадается в руки ее салфетка или

носовой платок, на котором написано «Констанция». Вчера, то есть в сочельник, мы со Славиком провели у нее весь вечер. Когда ночью ушел от нее и простился со Славиком, я пошел совсем один, тихими шагами, к церкви Св. Стефана. В воздухе было так тепло, как бывает весной. Церковь была еще совсем пуста. Я встал в темный угол и весь отдался созерцанию этого величественного здания. Словами передать красоту и величие этого свода невозможно. Вокруг меня царствовала глубочайшая тишина, которая была прервана громко раздававшимися шагами сторожа, пришедшего зажечь свечи. За мной и предо мной были могилы, только надо мной их не было. В эти минуты я живее чем когда-либо чувствовал свое одиночество и сиротливость».

Читая эти строки, невольно вспоминаешь поэтичные, дышащие какой-то тихой грустью ноктюрны и прелюдии Шопена: вероятно, они возникали в его душе, когда он находился в том настроении, которое запечатлено в вышеприведенном отрывке.

В конце концов Шопен решился-таки дать свой концерт, но концерт этот был очень неудачен. Музыкальный сезон уже кончился, и многие уехали на лето из Вены. К тому же, вследствие польского восстания, обитатели Вены не были склонны особенно восторгаться молодым польским артистом. Народу собралось немного, и Шопен даже не покрыл издержек. Это было ему очень неприятно, потому что деньги, взятые из дому, подходили к концу и он должен был просить отца выслать ему еще денег. Деликатному, самолюбивому до щепетильности Шопену было тяжело сознавать, что в двадцать два года он все еще живет на средства отца, который и без того истратил так много денег на его музыкальное образование. Но в то время ему было очень трудно заработать деньги.

Из Вены он сделал экскурсию в Мюнхен и Штутгардт и там с большим успехом играл в концертах. В Штутгардте он получил известие о печальном исходе польского восстания и, мучимый тоской по родине, там же написал свой знаменитый этюд C-moll.

После неудачного концерта ему совсем уже нечего было больше делать в Вене, но, по свойственной ему нерешительности, он все-таки пробыл там еще некоторое время. Наконец он решился уехать и достал себе паспорт в Англию, проездом через Париж (A Londres passant par Paris). Впоследствии, когда он окончательно поселился в Париже, он часто говорил смеясь: «Я здесь только проездом».

Приехав в Париж, Шопен первое время был совершенно опьянен кипевшей там шумной уличной жизнью. В это время обычная шумная жизнь Парижа имела еще более напряженный, лихорадочный характер: прошел только год со времени

воцарения Луи Филиппа, и народ еще не мог прийти в себя после Июльской революции; все было неспокойно и малейшего повода было достаточно, чтобы вызвать уличные беспорядки, грозившие принять серьезные размеры. Общественные и политические вопросы так волновали всех, что даже Шопен, обыкновенно столь равнодушный к политике, был несколько увлечен общим течением. Он пишет Войцеховскому о разных политических новостях и подробно описывает ему уличную манифестацию по случаю приезда в Париж польского генерала Раморино. Живя в пятом этаже на бульваре Poissonnière, против квартиры генерала Раморино, он имел возможность из окна наблюдать за собравшейся толпой, и это зрелище произвело на него потрясающее впечатление. Особенно подействовали на него «грубые голоса и крики» столпившегося народа. Шопен, со своим нерешительным, мягким характером, не выносившим даже самых незначительных неловкостей и шероховатостей в обращении, со своей чуткостью ко всему изящному и утонченному и болезненным отвращением к резким, ярким краскам, Шопен, с детства вращавшийся в аристократических салонах, не мог, конечно, сочувствовать демократическому движению. Величие народных восстаний и поэзия борьбы не увлекали его, а возбуждали в нем только ужас. Он слишком был поглощен своей внутренней жизнью и по самому складу своей натуры, по своему артистическому темпераменту оставался чужд идеям, волновавшим его современников: он был слишком большим «эстетиком», чтобы победить в себе предубеждение против неэстетичности проявления этих новых идей. В этом отношении он является прямой противоположностью другого великого артиста, жившего в одно время с ним и бывшего его большим другом – знаменитого Ференца Листа. Энергичный, мужественный, Лист был большим демократом и в молодости даже увлекался сен-симонизмом.

В литературе и в искусстве вообще в то время тоже кипела оживленная борьба. Тридцатые годы во Франции были эпохой расцвета романтизма, когда в литературе творили Виктор Гюго, Жорж Санд, Дюма, Альфред де Мюссе, Готье; в живописи – Делакруа, Анри Шиффер, Орас Берне, Деларош; в музыке – Берлиоз. Но в искусстве, как в политике, Шопен стоял в стороне от идейного движения. Характерно, что, будучи одним из типичнейших представителей романтизма, будучи романтиком по натуре и романтиком во всех своих произведениях, он в то же время в теории не признавал романтизма. Он не любил Берлиоза, находил его сочинения слишком дикими и необузданными и выше всех композиторов ставил Моцарта, сочинения которого

своим ясным, классическим стилем являли прямую противоположность его собственным сочинениям. Разговаривая однажды со своим учеником Гутманом о Берлиозе, Шопен сделал пером несколько чернильных пятен на бумаге, потом сложил ее пополам и сказал: «Вот таким образом Берлиоз пишет свои произведения. Он брызгает чернила на нотную бумагу, и в результате получаются случайные соединения нот».

Рекомендательных писем в Париж у Шопена было немного, большая часть из них относилась к музыкальным издателям, но тем не менее он вскоре познакомился со всеми наиболее выдающимися представителями парижского музыкального мира. Он часто бывал у Керубини, у которого собирались многие музыкальные звезды, как, например, Лист, Мошелес, Обер, Россини, Мейербер, Мендельсон, Гиллер и другие. Шопен вскоре освоился с этим кругом и сделался там своим человеком.

Самым замечательным пианистом того времени был Калькбреннер. Теперь он уже почти забыт, но тогда одно имя его наполняло благоговением сердца молодых музыкантов. Несколько освоившись в Париже, Шопен отправился к нему, намереваясь поступить в ученики. Но этот план не удался, потому что Калькбреннер брался быть его учителем только с тем условием, чтобы Шопен обязался учиться у него три года, на что Шопен не согласился, полагая, что три года учения будет для него слишком много. Но с Калькбреннером у них сохранились хорошие отношения, и последний вскоре сам признал, что Шопен не нуждался в его трехгодичном курсе. Калькбреннеру Шопен посвятил свой второй концерт. Вот что пишет Шопен своему учителю Эльснеру по поводу этого инцидента с Калькбреннером: «Трех лет учения для меня слишком много. Я, конечно, стал бы учиться и более трех лет, если бы думал, что этим достигну той цели, которая стоит передо мной. Но для меня ясно, что я никогда не сделаюсь копией Калькбреннера: ему не удастся сломить мое может быть и дерзкое, но высокое и твердое решение – открыть новую эру в музыке. Если я теперь продолжаю работать над своей фортепьянной игрой, то только для того, чтобы быть в состоянии потом стоять на своих ногах. Когда Рис был уже известен как пианист, ему нетрудно было пожинать лавры своей оперой „Невеста разбойника“. И как долго Шпор был уже известен как скрипач, прежде чем он написал „Фауста“ и другие свои знаменитые вещи. Надеюсь, что вы не откажете мне в своем благословении, узнав, на каком основании и с каким намерением я отказался от уроков Калькбреннера». Это письмо очень любопытно: в нем Шопен является не мечтательным, поэтичным юношей, а человеком, поставившим себе известные задачи и

решившимся осуществить их. Но во всех сохранившихся письмах это единственное такое место. Потом он, по-видимому, не заботился больше о том, чтобы открывать новую эру в музыке.

Первый концерт его в Париже прошел с большим успехом, но сбор с него был невелик и не мог поправить расстроившееся финансовое положение. Последнее обстоятельство ужасно его заботило. В Париже в то время артисту трудно было пробиться, потому что все были слишком поглощены политикой, чтобы интересоваться музыкой. Шопен, не рассчитывая на успех в Париже, начал было помышлять о переселении в Америку, но родители возражали против этого и звали его вернуться в Варшаву. Шопен окончательно решил уехать домой и сделал все нужные приготовления к путешествию, но в тот самый день, который он назначил для своего отъезда из Парижа, он случайно встретился с князем Радзивиллом. Тот уговорил его остаться еще на некоторое время и вечером повел его к Ротшильду. В этот вечер судьба Шопена была решена: своей игрой он привел в такой восторг всех присутствовавших, что тут же получил несколько предложений давать уроки музыки. Материальное положение его было таким образом обеспечено, и он навсегда утвердился в Париже.

В 1832 году Шопен был уже одним из самых популярных парижских пианистов. Он вскоре сделался избранным учителем фортепьянной игры среди аристократии и был очень доволен этим положением. Он пишет Дзевановскому: «Я вращаюсь в самом высшем обществе – среди посланников, князей и министров. Каким образом я к ним попал – я и сам не знаю: это случилось как-то само собой. Но для меня это теперь положительно необходимо, потому что как бы то ни было, а настоящий хороший вкус исходит оттуда. Вы сразу начинаете пользоваться репутацией талантливого пианиста, если вас слышали у английского или австрийского посланника… Сегодня я должен дать пять уроков. Ты, вероятно, думаешь – я вскоре сделаюсь богачом, но увы! кабриолет и белые перчатки съедают почти все мои заработки, а без этих вещей нельзя поддержать „bon ton“. В этом письме Шопен старается дать понять, что он посещает салоны высшего света ради своей артистической карьеры, но едва ли это было так. Конечно, он сознавал, что великосветские знакомые могут быть ему полезны и в этом смысле, но главная причина того, что он постоянно вращался среди аристократии, заключалась просто в его личном тяготении к ней, которое обусловливалось всей его натурой и воспитанием. В этом была, конечно, и некоторая доля тщеславия, недостойного такого великого артиста, каким был Шопен. В вышеприведенном

письме характерно также его сообщение о белых перчатках, поглощающих большую часть его доходов. Шопен, этот „уроженец волшебного мира поэзии“, как называет его Гейне, был в то же время большим франтом. В письмах к своему парижскому другу, Юлию Фонтану, он дает ему разные поручения к своему портному и с необычайной обстоятельностью распространяется насчет цвета брюк и выбора материи для жилетки. Он особенно настаивает на том, чтобы все было сделано по самой последней моде.

Из своих собратьев-музыкантов Шопен довольно близко сошелся с Листом, тогда еще молодым, начинающим артистом, и с Гиллером, талантливым человеком, принадлежащим, впрочем, к числу звезд второй величины. Они втроем часто бывали в обществе и особенно любили посещать семью одного из соотечественников Шопена – графа Платера. Рассказывают, что старая графиня Платер сказала однажды Шопену: „Если бы я была молода и красива, мой маленький Шопен, я сделала бы тебя моим мужем, Гиллера – другом, а Листа – любовником“.

Если эти слова действительно были сказаны, то они доказывают проницательность старой графини. Шопен был именно из тех людей, которые легко могут сделаться обманутыми мужьями, и впоследствии ему пришлось испытать все удовольствия подобного положения, не будучи при этом законным супругом любимой женщины.

В книге Листа о Шопене есть блестящая характеристика последнего, которая воссоздает личность Шопена, каким он был в то время, когда его знал Лист. Шопен, очевидно, очень изменился за те несколько лет, которые прошли со времени окончания им Варшавского лицея до знакомства с Листом.

Прежний восторженный юноша превратился в сдержанного, непроницаемого человека, державшегося всегда на известном расстоянии от всех окружающих. Лист говорит, что „он не вмешивался ни в какие дела, ни в какие драмы, ни в завязки, ни в развязки. Он не властвовал ни над чьим сердцем и ни в чьей судьбе не играл решающей роли. Он ничего не искал и не унижался до просьбы… Готовый все отдать, он никогда не отдавал своей души“. Про свои личные дела, про свои любовные увлечения и дружбу Шопен никогда ничего не говорил, так что многие сомневались даже, существовало ли для него все это. В разговорах он всегда занимался исключительно тем, что касалось его собеседников, и никогда не говорил о себе.

В обществе Шопен отличался ровным, спокойным настроением духа: казалось, артист был доволен всем, происходившим вокруг него, и не рассчитывал встретить что-либо

интересное. Обыкновенно он бывал даже весел и остроумен. Его чарующая грация и веселость вносили оживление всюду, где бы он ни появлялся. Шопен прекрасно умел передразнивать, причем лицо его изменялось до неузнаваемости и делалось похожим на того, кого он хотел представить. Но и изображая комические безобразные фигуры, артист не утрачивал своей обычной изящной красоты: „даже гримасе не удавалось его обезобразить“, – говорит Лист.

Все это, вместе с громадным талантом, делало его центром общества, и он всегда был окружен всеобщим поклонением. Его ценили не только как артиста, но и как обаятельного человека и приятного собеседника.

В принципиальных разговорах, касавшихся политики, философии или искусства, Шопен принимал мало участия. Замечательно, что, прожив большую часть своей жизни в Париже и вращаясь среди артистического мира, Шопен до конца дней своих оставался верующим католиком. Он никогда не говорил о своих религиозных убеждениях, но, заболев, позвал к себе духовника, исповедался и причастился и каждый день подолгу беседовал с ним.

О своем патриотизме Шопен говорил так же мало, как и вообще о своей внутренней жизни. Тем не менее его любовь к родине сказывалась во всем: в его отношениях к своим соотечественникам, в том постоянном предпочтении, которое он отдавал полякам перед другими учениками, наконец, главным образом, в национальном характере многих его произведений. Но при всей своей любви к Польше Шопен был чужд всякой национальной ненависти и жажды мести. Он по натуре был совершенно не способен на такие чувства и поэтому ограничивался тем, что оплакивал судьбу своего народа, не вдаваясь в дипломатические и военные планы о восстании Польши. Лист рассказывает, что часто во время горячих споров о польском вопросе Шопен нервно ходил взад и вперед по комнате, прислушивался к ожесточенным и восторженным речам своих друзей и сам не говорил ни единого слова. Иногда, при каком-нибудь особенно резком суждении, лицо его принимало такое выражение, как будто он физически страдал от слышанного, как от музыкального диссонанса. Иногда же он делался грустным и задумчивым. „В такие минуты, – говорит Лист, – Шопен напоминал путника, стоящего на палубе корабля, носимого бурей по волнам: он смотрит на небо, на звезды, думает о своей далекой родине, следит за работой матросов, считает их ошибки и молчит, не чувствуя в себе достаточно силы, чтобы самому принять участие в спасении корабля“.

Шопен редко принимал участие в этих дебатах и если вмешивался в них, то указывал на ошибки в чужих мнениях, но своего собственного не высказывал. Вообще он не любил спорить; убеждать, доказывать, проповедовать какие-нибудь идеи – все это было совершенно чуждо ему. Он был слишком погружен в свою личную жизнь и слишком мало интересовался всем, что происходило вокруг него, чтобы давать себе труд спорить о чем бы то ни было. Единственное, что заставляло его выйти из своего обычного созерцательно-равнодушного состояния – это искусство. Оно было для него предметом какого-то почти религиозного поклонения. Он гордился своим призванием и ставил его выше всего в жизни.

Мы уже говорили, что Шопен всегда с особенной симпатией относился к своим соотечественникам. Всякий, кто приезжал из Польши, мог рассчитывать на самый любезный прием у него. Ему не нужно было никаких рекомендательных писем; одного того, что они приехали из Польши, было достаточно, чтобы он делал для них то, чего не делал ни для кого из своих парижских знакомых: артист позволял им расстраивать свои привычки. Он не уставал водить их по Парижу, показывать то, что сам уже двадцать раз видел, угощал их обедами и ужинами, не давал им нигде платить за себя, даже давал взаймы деньги. Он очень любил бывать в польском обществе и говорить на своем родном языке.

Как все люди с сильно развитым эстетическим чувством, Шопен очень любил красивую обстановку. Квартира его всегда была устроена с большим вкусом и изяществом, хотя в ней не было той бьющей в глаза роскоши, какой отличаются многие квартиры „знаменитостей“ музыкального мира. Он имел особенную слабость к цветам, и комнаты его обыкновенно бывали заставлены цветами.

Как композитор Шопен начал приобретать известность только в 1833 году, когда появились в печати несколько его ноктюрнов, три для фортепиано, виолончели и скрипки, концерт E-moll, посвященный Калькбреннеру и др. Кроме этого трио и сонаты для фортепиано и виолончели, Шопен не писал musique d'ensemble[4] и ограничивался одним фортепиано. Старый учитель его, Эльснер, очень советовал своему бывшему ученику написать оперу. Шопен одно время действительно задался этим намерением и даже начал подумывать о каком-нибудь национальном сюжете, но вскоре оставил всякую мысль об опере. Он сознавал, что эта задача ему не по силам: при всем своем громадном таланте Шопен был слишком субъективен, слишком поглощен своим внутренним миром, чтобы перенестись в чужую

душу и воплотить в музыке развитие какого-нибудь драматического положения. Характер его таланта был по преимуществу лирический.

В первые годы своей жизни в Париже Шопен много раз играл в концертах, но с 1835 года он совсем отказался от карьеры виртуоза и всецело отдался своим композициям и урокам.

Мы уже говорили, что Шопен не был создан для трудной, хлопотливой карьеры виртуоза. Он не мог быть самим собой в больших концертных залах, переполненных публикой. Он сам говорил Листу: „Я не способен давать концерты; толпа смущает меня, я задыхаюсь от ее дыхания и чувствую себя парализованным ее любопытными взглядами. Эта масса чужих лиц делает меня немым“. Именно потому, что Шопен чувствовал себя таким чуждым всей этой толпе, он никогда не умел как следует воодушевить ее и не имел такого успеха, как, например, Лист. Шумные триумфы Листа были, вероятно, тоже одной из причин, побудивших Шопена отказаться от концертов.

Помимо нравственной брезгливости к разным дрязгам и мелким интригам, неизбежно связанным с артистической деятельностью, помимо недостатка энергии и предприимчивости, который мешал ему объездить всю Европу, чтобы сделать известным свое имя, помимо того смущения и робости, какие он всегда испытывал перед публикой, Шопен очень страдал от предпочтения, оказываемого другим, потому что, несмотря на все только что перечисленные обстоятельства, он все-таки не мог не мечтать о славе виртуоза и жалел, что она не давалась ему.

Любовь к женщине играла большую роль в жизни Шопена. При своем равнодушии к политике и к теоретическим разговорам он всегда предпочитал женское общество мужскому. С женщинами у него было больше точек соприкосновения, чем с мужчинами: неясные, мечтательно-нежные порывы, поэзия любви и страдания, мучительные сны и чудные грезы, овладевавшие его душой и изливавшиеся в его игре и сочинениях, всегда находили отклик в женщинах. Шопен имел большой успех у женщин и сам он очень увлекался ими. Роман его с Констанцией прекратился вскоре после его переезда в Париж, где он получил известие о ее замужестве. Как отнесся Шопен к этой новости – неизвестно, но во всяком случае он недолго терзался жестокой изменой своего „идеала“, о котором когда-то говорил, что позволит вырвать у себя по одному все волосы на голове, если когда-нибудь ее разлюбит. Но продолжительная разлука и новые впечатления заслонили от него образ „идеала“ и заменили его новыми предметами увлечений. Шопен почти постоянно был влюблен в кого-нибудь; это было ему необходимо для творчества. Конечно,

эти увлечения бывали неглубоки. Жорж Санд говорит, что он в течение вечера сразу мог быть страстно влюблен в трех-четырех женщин и совершенно забывал о них, как только возвращался к себе. Но увлечения его не шли дальше платонической влюбленности: несмотря на свою власть над женскими сердцами, он не заводил светских интрижек и влюблялся преимущественно в молодых девушек. Лист рассказывает, что он очень любил болтать с ними, смешил их разными забавными историями и даже играл с ними в жмурки.

В отношениях к женщинам, как и в отношении к людям вообще, симпатии Шопена коренились в самых неуловимых, тонких оттенках, и одного неловкого слова или равнодушного взгляда было совершенно достаточно, чтобы разрушить все очарование. Жорж Санд рассказывает, что однажды он был довольно серьезно влюблен во внучку одного знаменитого музыканта и даже думал жениться на ней. Молодая девушка тоже была к нему благосклонна, и все шло прекрасно до тех пор, когда Шопен раз пришел к ней вместе с одним из своих товарищей, а она предложила тому сесть раньше, чем Шопену. Шопен никогда больше не навещал ее и с того момента совершенно вычеркнул ее из своего сердца.

Из бесчисленных романтических увлечений Шопена до его романа с Жорж Санд сохранилась история его любви к одной молодой польке, Марии Водзинской. Она была сестрой одного из товарищей Шопена по лицею, и они с детства знали друг друга. Они случайно встретились в Париже, где Водзинские прожили одну зиму. Маленькая Мария превратилась в красивую, привлекательную девушку, и вскоре ее прежний товарищ детства влюбился в нее. Шопен бывал у них каждый день, и они проводили целые вечера за фортепиано. Мария очень любила музыку и сама была немного музыкантшей. Потом Водзинские уехали из Парижа. В день их отъезда, перед прощанием, Шопен сел за фортепиано, и результатом его импровизации явился вальс, посвященный Марии, который она потом назвала „L'Adieu“ [5]. Следующим летом они снова встретились в Мариенбаде, и опять начались совместные прогулки, разговоры и музыка. Наконец Шопен решился сделать предложение, но оно было отвергнуто, потому что родители Марии не хотели согласиться на брак своей дочери с артистом, а она, хотя, по-видимому, и любила Шопена, не решалась идти против их воли. Спустя некоторое время после неудачного сватовства Шопена она вышла замуж за одного польского аристократа.

Таким образом окончилась единственная известная потомству попытка Шопена наложить на себя брачные узы. Но,

вероятно, и любовь его к Марии не имела особенно серьезного характера, потому что вскоре после ее замужества новая страсть уже овладела его душой, настоящая, глубокая, непреодолимая любовь, наполнившая всю его жизнь и потом окончательно надломившая его силы. Это была его любовь к Жорж Санд.

Глава IV

Шопен и Жорж Санд. – Характеристика их отношений. – Первое знакомство. – Зима на Майорке.

Это было в 1837 году. Шопен весь день чувствовал себя тоскливо. Унылая погода действовала на его настроение, никакие новые мелодии не приходили ему в голову. Вечером, чтобы развлечься, он отправился к графине С., и в то время, как он подымался по лестнице, ему показалось, что мимо него промелькнула какая-то тень, от которой на него повеяло ароматом фиалок. Шопен был очень суеверен, и эта встреча так на него подействовала, что он уже готов был вернуться домой, считая ее дурным предзнаменованием. Но потом ему самому стало смешным собственное ребячество и он, невзирая на предчувствие, поднялся в гостиную. Там происходило одно из тех оживленных, нарядных светских собраний, которые Шопен так любил, но в тот день он не был расположен принимать участие в общем разговоре и молча сидел в стороне. Позднее, когда большая часть гостей уже разошлась, сумрачный артист сел за рояль и начал импровизировать. Во время импровизации он вдруг почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд и, подняв голову, увидел высокую женщину в темном платье, которая стояла против него, облокотясь на рояль, и восторженно следила за ним своими большими, темными глазами. Кончив импровизацию, Шопен ушел в соседнюю комнату и вскоре опять почувствовал около себя запах фиалок и увидел ту самую даму, глаза которой так смутили его во время игры, подходившую к нему вместе с Листом. Лист представил его, и она тотчас же начала выражать ему свое восхищение его игрой.

Так описывает первую встречу Шопена с Жорж Санд его польский биограф Коразовский. Другой биограф Шопена, Никс, не особенно доверяет этому рассказу, но во всяком случае несомненно и подтверждается всеми очевидцами то, что они познакомились через Листа и что это знакомство произошло в 1837 году. Число это любопытно потому, что суеверный Шопен испытывал какой-то болезненный ужас перед цифрой семь: он никогда не брал квартиры в доме с номером, в который входила эта цифра, избегал быть седьмым в обществе, ничего не предпринимал седьмого числа. И по странной случайности в его жизни эта цифра действительно оказалась роковой: он познакомился с Жорж Санд в 1837 году и разошелся с ней в 1847 году.

Первое впечатление, произведенное Жорж Санд на Шопена,

было самое неблагоприятное. Он находил ее некрасивой и непривлекательной. Резкие черты ее лица и несколько массивная фигура не соответствовали его идеалу женской красоты. Гиллер рассказывает, что когда они однажды возвращались вместе с Шопеном с музыкального вечера у Листа, на котором присутствовала и Жорж Санд, Шопен сказал ему: „Какая антипатичная женщина эта Санд! Да и женщина ли она? Я, право, иногда склонен в этом усомниться“.

Но эти сомнения, очевидно, продолжались недолго. Жорж Санд, когда хотела, умела быть просто неотразимой. Шопен с первого же раза чрезвычайно заинтересовал ее, и она всячески старалась привлечь его к себе. Она жила в то время с графиней д'Агу, которая незадолго перед этим оставила своего мужа и поселилась одна в Париже. Графиня д'Агу писала довольно много под псевдонимом Даниэль Стерн, но главный интерес ее личности заключается не в ее литературной деятельности, а в том, что у нее был довольно продолжительный роман с Листом. Через нее Жорж Санд познакомилась с Листом и другими музыкантами. Летом 1837 года они вместе поехали в Ноган, имение Жорж Санд в Берри, и Жорж Санд очень хотелось залучить туда Шопена. Она постоянно упоминает об этом в своих письмах к Листу. Так, она пишет ему в конце марта 1837 года.

"…Мари (графиня д'Агу) говорила мне, что есть некоторая надежда на Шопена. Скажите ему, что я очень прошу его сопровождать вас, что Мари не может жить без него и что я его обожаю».

Трудно было устоять против таких любезных приглашений, и Шопен вместе с Листом поехал на время в Ноган. Там он имел случай ближе познакомиться с Жорж Санд, и скоро его прежняя антипатия сменилась любовью.

Трудно представить себе двух более непохожих друг на друга людей, чем Шопен и Жорж Санд. Как справедливо говорит Никс, в истории их любви Шопен был женщиной, нервной, причудливой, слабой и очаровательной женщиной, а Жорж Санд – сильным, энергичным мужчиной. Они во всем были противоположны. Жорж Санд была по преимуществу деятельной, активной натурой: она любила жизнь и движение, любила шум и суету человеческой толпы; во время своего «литературного студенчества» она, переодевшись в мужской костюм, ходила в рабочие кварталы, в клубы, в собрания и старалась познакомиться с людьми самых разнообразных слоев общества. Она была большим психологом и умела заглядывать в души людей. Шопена же люди совершенно не интересовали: он жил в фантастическом мире поэзии и музыки и не любил спускаться в действительную жизнь. Он признавал

только людей, способных понимать искусство и, главное, людей благовоспитанных. Всякое отступление от условных форм приличия приводило его в ужас. И по странной иронии судьбы именно этот до щепетильности благовоспитанный человек, проникнутый уважением ко всему «принятому», должен был влюбиться в женщину, которая бросила мужа, переодевалась мужчиной, курила папиросы, проповедовала в романах и осуществляла в жизни идеи свободной любви – словом, делала то, что считалось совершенно непозволительным для так называемых порядочных женщин. Но ради нее Шопен изменил самому себе, закрывал глаза на все, что внушило бы ему ужас в ком-нибудь другом и любил ее с какой-то болезненной силой. Может быть, именно это крайнее несходство их характеров и было одной из причин их любви: ее сильная, жизненная натура импонировала ему; он искал у нее помощи и поддержки в периоды уныния, часто овладевавшего его душой, и она всегда умела ободрить и успокоить его. Хотя между ними было пять лет разницы, но она чувствовала себя бесконечно старше Шопена, в котором до конца его жизни всегда оставалось что-то наивное, детское. Ей нравилось, что этот великий артист был таким ребенком перед ней, так всецело ей подчинялся.

Зиму 1838 года Жорж Санд, дабы поправить здоровье своего сына, намеревалась провести на острове Майорка. Шопен решил поехать с ними, тем более что здоровье его было тоже очень нехорошо, и доктора советовали ему на время уехать из Парижа и пожить на юге. Он никому не говорил о своих планах и уехал неожиданно для всех: только трое из его наиболее близких друзей знали о его путешествии.

Вначале Шопен был в полном восторге от Майорки. Он пишет своему другу Фонтану: «Я нахожусь теперь в Пальме (название города на Майорке), среди пальм, померанцев, кактусов, алоэ и олив, апельсиновых, лимонных, фиговых и гранатовых деревьев, какие произрастают в парижском ботаническом саду только благодаря его печам. Небо тут бирюзовое, море лазурное, а горы изумрудные. Воздух? Воздух здесь совсем как в раю. Днем светит солнце, следовательно, тепло, и все ходят в летних платьях. Ночью везде и всюду раздаются звуки песен и гитары. Громадные балконы, перевитые виноградными лозами, мавританские колонны… Город обращен к Африке… Словом, восхитительная жизнь!.. Я, вероятно, поселюсь в чудном монастыре в одном из прелестнейших уголков земного шара: море, горы, пальмы, кладбище, старинная церковь рыцарей креста, развалины монастырских келий, старые тысячелетние оливковые деревья! О, мой дорогой друг, я теперь немного более наслаждаюсь жизнью: я

окружен тем, что прекраснее всего на земле, и чувствую себя лучшим человеком».

Они поселились в старинном, полуразвалившемся здании картезианского монастыря Вальдемоза, в котором раньше укрывался с женой один политический преступник, бежавший от преследований испанского правительства. Своеобразная красота этого уголка очень поразила Шопена и Жорж Санд, когда они осматривали монастырь, и, узнав, что обитатели собираются покинуть его в самом непродолжительном времени, они купили у них всю обстановку и решили после их отъезда поселиться в Вальдемозе. Для них это было тем более удобно, что Шопен вскоре по приезде на Майорку расхворался и начал кашлять кровью. В Испании всякая болезнь считается заразной, и хозяин их гостиницы в Пальме начал требовать, чтобы они тотчас же съехали с квартиры. Таким образом, Вальдемоза, кроме красоты местоположения, имел для них и то преимущество, что освобождал их от необходимых сношений с местными жителями, которые, при всей своей поэтической первобытности, имели и много темных сторон.

Монастырь Вальдемоза, послуживший убежищем для Ж. Санд и Шопена, состоял из нескольких каменных строений, расположенных вокруг старого монастырского кладбища. Самое древнее из этих зданий было построено еще в XV столетии. Вот как Жорж Санд описывает в своей книге «Un hivera Majorke» [6] монастырские развалины, среди которых они поселились: «Я никогда не слышала завываний ветра, так похожих на мучительные стоны и отчаянные вопли, как в этих пустынных, мрачных проходах! Шум потоков, быстрое движение облаков, величественный, монотонный гул моря, прерываемый завыванием бури и жалобными криками морских птиц, производили потрясающее впечатление под этими сводами. Иногда густые туманы проникали в монастырские кельи сквозь развалившиеся аркады и совершенно застилали всю внутренность здания, так, что мы не могли видеть друг друга, и маленький фонарь, который освещал нам путь, казался каким-то привидением, блуждающим по развалинам».

Наши отшельники поселились в более новой части монастыря и занимали три просторные, светлые комнаты, отделенные от прочих строений темным проходом, заканчивающимся крепкой дубовой дверью. Эти комнаты прежде служили помещением для настоятеля монастыря. Они выходили окнами в цветник, обсаженный апельсиновыми, лимонными и гранатовыми деревьями. Цветник сообщался с громадным, запущенным монастырским садом и виноградниками. Вдали

синело море.

В монастыре почти не было никакой мебели, кроме старинных стульев и разных приспособлений для молитвы, но с помощью привезенных с собою и купленных у испанских эмигрантов вещей Жорж Санд сумела придать комнатам уютный, жилой вид и внести в это древнее здание немного современного комфорта. Пол был покрыт привезенными с собой козьими шкурами, большая индейская шаль изображала драпировку алькова, громадное готическое дубовое кресло с высокой спинкой заменяло книжный шкаф; на маленькую железную печку, заказанную им в Пальме, была поставлена красивая металлическая ваза. Вот как описывает Шопен свое новое помещение: «Представьте себе меня, с незавитыми волосами, без белых перчаток, бледного, как всегда, сидящим между скалами и морем в большом, заброшенном картезианском монастыре, в келье, двери которой больше, чем ворота в парижских домах. Келья имеет форму гроба, она очень высокая, и своды ее покрыты густым слоем пыли. Окно маленькое, перед окном померанцы, пальмы и кипарисы. Против окна, под старинным балдахином, стоит моя постель. Сбоку какая-то старая четвероугольная штука, долженствующая изображать письменный стол… Сочинения Баха, мои ноты и разные письменные принадлежности – вот вся моя обстановка. Тишина… можно выстрелить, и никто этого не услышит. Словом, я пишу вам из странного места».

В таком странном месте Шопен писал свои прелюдии и баллады, а Жорж Санд – «Консуэлло». Есть какая-то невыразимая поэзия в этом отрывке из жизни великого артиста и великой писательницы в старых монастырских развалинах; мы живо представляем себе высокую келью со сводами, Жорж Санд, погруженную в свою работу за старым письменным столом, когда-то служившим монахам, Шопена за фортепиано, звуки которого так странно раздаются в монастырских стенах, и бегающих тут же детей Жорж Санд, занятых своими играми.

Но не все в их жизни было столь поэтично. Как уже сказано, вскоре по приезде на Майорку Шопен заболел, и болезнь его принимала все более и более серьезные размеры. Несмотря на чудный климат, болеть на Майорке было очень неудобно, потому что доктора были плохи и в аптеке даже нельзя было достать нужных лекарств. Жорж Санд созвала консилиум из лучших докторов, каких только могла найти на Майорке, но помощи от них было мало. Тем не менее благодаря ее неусыпному уходу и климату кризис миновал благополучно и Шопен начал выздоравливать. Вот как он сам описывает свою болезнь: «В течение двух недель я был болен как собака, несмотря на

страшную жару, розы, пальмы и цветущие апельсиновые деревья. Я схватил серьезную простуду. Три доктора, самые знаменитые на всем острове, были позваны на консилиум. Один обнюхивал мою мокроту, другой стукал меня по спине в то время, как я ее выплевывал, третий в то же самое время выслушивал мое дыхание. Первый сказал, что я умру, второй, что я умираю, третий, – что я уже умер. И тем не менее я продолжаю жить, как жил раньше».

Но хотя острый период болезни и прошел, эта простуда все-таки очень расшатала здоровье Шопена. Он чувствовал себя нехорошо и постоянно прихварывал. Благодаря этому вся красота и прелесть Майорки отступили на второй план перед материальными неудобствами жизни на маленьком островке среди почти некультурных людей. Неудобств этих было очень много: прежде всего, Шопен совсем не мог выносить местной пищи, состоявшей большею частью из особенно приготовленной свинины и картофеля. Жорж Санд часто сама должна была готовить, потому что привезенная ею из Парижа горничная не могла одна со всем управиться, а местная прислуга решительно ничего не умела делать. Жорж Санд рассказывает, что она отдала бы тогда все на свете, чтобы достать хорошего вина и крепкого бульона для своего больного, но это было совсем невозможно. К тому же, при всех этих неудобствах, жизнь была очень дорога, особенно для них, так как жители Майорки смотрели на них как на еретиков (вследствие того, что они не ходили в церковь) и продавали им все втридорога. Но самой большой неприятностью для них было то, что погода испортилась и начались проливные дожди.

Дурная погода и расстроенное здоровье приводили Шопена в ужасное настроение, и он, который еще так недавно был в восторге от Майорки, начал страстно желать поскорее вернуться в Париж. Но это было невозможно вследствие бурной погоды. Жорж Санд дает нам следующую картину их жизни, которая совсем не напоминает больше прежних, восторженных описаний: «По мере того как надвигалась зима, все мои усилия разогнать тоску, овладевавшую Шопеном, становились тщетными. Состояние его здоровья все ухудшалось. Ветер завывал над морем, дождь бил в наши окна, раскаты грома проникали к нам сквозь толстые монастырские стены и смешивались со смехом и криками детей. Орлы и ястребы, теснимые туманами, спускались к нам за воробьями и хватали их даже на большом гранатовом дереве, которое бросало тень на мое окно. Бушевавшее море удерживало корабли у пристани. Мы чувствовали себя как бы заключенными в тюрьме, далеко от всякой дружеской симпатии и сочувствия.

Казалось, что смерть парит над нашими головами, чтобы схватить одного из нас, и я должна была одна бороться с ней, отбивая у нее ее добычу».

По словам Жорж Санд, Шопен был невыносимым больным: физические страдания он переносил довольно бодро, но зато совсем не умел справляться со своими нервами, которые под влиянием болезни и дурной погоды расстроились до последней степени. Монастырь казался ему полным всяких ужасов и привидений. Он целые ночи просиживал за фортепиано, и воображение у него разыгрывалось до такой степени, что он сам делался похожим на призрак. Ему мерещились тени монахов, встающих из своих гробов, в ушах его звучали похоронные мотивы, и он доходил до такого отчаяния, что ему часто казалось, что он сходит с ума.

Однажды Жорж Санд со своим сыном отправилась в Пальму за покупками. По дороге их застиг страшный дождь, кучер отказался везти их по размытым дорогам, они должны были пройти пешком довольно большое расстояние и вследствие этого вернулись домой только поздно ночью. Жорж Санд очень тревожилась о Шопене, зная, что он будет волноваться и мучиться по поводу их долгого отсутствия. И она не ошиблась. Они застали его сидящим за фортепиано. Когда они вошли, он вскочил, посмотрел на них диким взглядом и, вскрикнув: «Я знал, что вы умерли», упал без чувств. Когда он пришел в себя, то рассказал, что от страшного волнения и опасения за них он, сидя за своим фортепиано, впал в почти бессознательное состояние: ему казалось, что он умер и лежит на дне моря и что на грудь ему падают одна за другой тяжелые, холодные, как лед, капли слез. Когда же Жорж Санд обратила его внимание на то, что эта картина была навеяна ему звуком дождевых капель, ударявших о крышу, он рассердился и сказал, что совсем не слышал дождя. В эти часы мучительного ожидания и страха за жизнь любимой женщины он написал свою чудную прелюдию B-moll, в которой мерные звуки падающих дождевых капель переплетаются с колокольным звоном и с раздирающими душу аккордами похоронного марша.

Нетрудно понять, что при таком напряженном нервном состоянии Шопен был чрезвычайно раздражителен и капризен, и Жорж Санд нужно было запастись большой долей терпения и кротости, чтобы умиротворять его. Но тогда она настолько любила его, что не тяготилась этим и с любовью выполняла все обязанности сестры милосердия. Утром романистка помогала прислуге по хозяйству, потом занималась с детьми и весь остальной день посвящала уходу за больным. Для работы ей

оставались только ночи, да и то она не могла вполне ими пользоваться: Шопена часто мучили разные тяжелые сны и кошмары, он боялся оставаться один, и Жорж Санд должна была отрываться от своего писания, чтобы идти успокаивать его. Мысль о смерти, с ранней юности сверлившая его душу, теперь выступила вперед с особенной силой. Эти странные развалины, где все говорило о далеком прошлом и о могуществе смерти, его болезнь, невольно вызывавшая в нем мрачные мысли, все усиливало свойственную ему меланхолию. Шопен вообще был очень мнителен и при каждой ничтожной простуде готов был думать о роковой развязке. Но на Майорке он в первый раз был настолько серьезно болен, что жизнь его была действительно в опасности. Близость смерти произвела на него потрясающее впечатление. Говорят, что тут же, на Майорке, он задумал свой знаменитый похоронный марш, который через несколько лет был издан как часть сонаты B-moll. Похоронные мотивы часто звучат в разных сочинениях Шопена – особенно в его ноктюрнах и прелюдиях. Видно, что мысль о смерти не давала ему покоя и была одним из важных источников его вдохновения.

Наконец погода установилась и Жорж Санд со всей своей колонией могла выбраться из Майорки. В Марселе они остановились и пробыли там дольше, чем рассчитывали: Шопену опять стало хуже, и доктора говорили, что при таком состоянии здоровья ему трудно будет продолжать путешествие. В мае они наконец приехали в Ноган. Шопен отправился туда вместе с Жорж Санд и выражал желание провести там все лето. Жорж Санд говорит по этому поводу: «Такая перспектива совместной семейной жизни несколько смущала меня. Я боялась новой обязанности, которую брала на себя и которая, как я думала раньше, ограничится одной Испанией… Я не находилась в плену страсти. Я любила артиста благоговейной, материнской любовью, которая, однако, не была настолько сильна, чтобы стать рядом с любовью к моим детям… Но эта любовь, во всяком случае, могла предохранить меня от порывов страсти, которых я больше не хотела знать». В этих словах Жорж Санд старается дать понять, что она из бескорыстного сострадания согласилась взять на себя обязанность заботиться о Шопене, возбуждавшем в ней одни только материнские чувства. Между тем последующая история их любви показывает, что это было не совсем верно. Характерно также ее замечание относительно того, что она смотрела на свою связь с Шопеном как на «предохранительное средство» от других, более сильных увлечений. Шопен, по-видимому, несколько иначе понимал их отношения.

Глава V

Совместная жизнь Шопена и Жорж Санд в Париже. – Артистическая среда, в которой находился Шопен. – Лист, Гейне, Делакруа. – Летние пребывания в Нагане. – Процесс творчества у Шопена. – Его взгляды на музыку и музыкантов. – Шопен как композитор.

Вначале Шопен поселился в Париже отдельно от Жорж Санд и каждый день бывал у нее. Но даже и это небольшое расстояние, разделявшее их, тяготило его; он часто хворал, должен был сидеть дома и страшно тосковал без нее. Жорж Санд приходила к нему по несколько раз в день, и почти все ее время уходило на хождение между их домами. Это было очень неудобно для них обоих, и они решились устроиться вместе. Они нашли себе удобное помещение в спокойном уголке Парижа – так называемом Cité d'Orléans. Это было излюбленное место артистов и литераторов, вследствие чего его даже прозвали «маленькими Афинами». Когда-то тут жил Александр Дюма и другие знаменитости. Дома, в которых поселились Шопен и Жорж Санд, стояли рядом посреди большого сквера с прекрасной, обсаженной деревьями лужайкой. Шум с улицы не доносился в этот тихий сквер, и зелень перед окнами напоминала о деревне. В доме рядом с ними жила семья испанского консула в Париже Марлиани, с которой оба они были очень дружны. Мадам Марлиани вела общее хозяйство и обе семьи обедали вместе, так что Жорж Санд была избавлена от всяких хозяйственных забот. По вечерам они постоянно ходили друг к другу в гости, как какие-нибудь добрые провинциальные соседи. У Шопена была прекрасная, изящно убранная квартира, уставленная цветами и разными безделушками, поднесенными ему его многочисленными поклонницами. Но в первые годы своего романа с Жорж Санд он, по ее собственным словам, мало пользовался своей квартирой и только давал там уроки, а большую часть времени проводил у нее.

История любви какого-нибудь великого человека всегда очень интересна, потому что тут с особенной яркостью раскрывается перед нами весь его внутренний мир. История любви Жорж Санд и Шопена тем более интересна, ибо здесь обе стороны являются выдающимися личностями. Обыкновенно великие артисты и поэты влюбляются в совершенно ничтожных женщин. Жорж Санд же была одной из немногих женщин, в которых талант сочетался с красотой и женским очарованием, и поэтому в нее могли влюбляться такие люди, как Альфред Мюссе и Шопен. К

сожалению, настоящая правда их отношений до сих пор еще не выяснена. Переписка их, которая могла бы бросить свет на эту важную сторону жизни их обоих, еще не обнародована. По поводу писем Жорж Санд к Шопену существует следующий фантастический анекдот: рассказывают, что сестра Шопена после его смерти вместе с разными другими его бумагами увезла с собой в Польшу около восьмисот писем Жорж Санд к нему. На границе ее вещи, в том числе и ящичек с письмами, были задержаны, и письма затерялись. Через несколько лет они были найдены одним таможенным чиновником, который хранил их у себя, не зная имени потерявшей их дамы. Этот факт каким-то образом стал известен Дюма-сыну, и он, во время своего путешествия по России, убедил чиновника отдать ему письма; когда же чиновник стал ссылаться на свои служебные обязанности, Дюма заявил ему, что в случае, если бы кто-нибудь потребовал эти письма, он дает ему разрешение сказать, что он, Дюма, украл их. Таким образом, письма Жорж Санд очутились в руках у Дюма и он, вернувшись в Париж, передал их ей. Насколько эта история справедлива – сказать трудно; достоверно только то, что до сих пор обнародовано одно-единственное письмо Жорж Санд к Шопену. Английский биограф Шопена, Никс, почерпнул сведения об их отношениях главным образом из личных разговоров с учениками Шопена и из разных воспоминаний о нем, изданных после его смерти.

Друзья Шопена, говоря о его романе с Жорж Санд, обыкновенно выставляют его каким-то мучеником, которому эта любовь доставляла одни страдания. Но по собранным Никсом сведениям оказывается, что такое мнение во всяком случае сильно преувеличено. Несомненно, что любовь к Жорж Санд доставила Шопену много горя, но она дала ему также столько счастья, особенно в первое время их связи, что нельзя рисовать всю историю их любви одинаково мрачными красками. Вначале Шопен был очень счастлив. Любимый ученик его, Гутман, имевший возможность близко наблюдать домашнюю жизнь своего учителя и вовсе не принадлежавший к числу друзей Жорж Санд, тем не менее решительно утверждает, что все рассказы о том, будто Жорж Санд третировала Шопена и обращалась с ним грубо и пренебрежительно, совершенно ложны. Он говорит, что, хотя отношения их были всем известны, хотя они жили вместе, вместе делали визиты и принимали гостей, сам Шопен держался в ее доме как простой гость и ничем не выдавал своей близости к хозяйке. Он всегда был рыцарски любезен и почтителен с Жорж Санд; она тоже была с ним неизменно ласкова и действительно первое время относилась к нему с чисто материнской

заботливостью. Он говорит, что они никогда не ссорились. Сохранилось одно ее письмо к сыну, где она упоминает о Шопене в следующих выражениях: «Напиши мне, не болен ли Шопен? Письма его короткие и грустные. Позаботься о нем, если ему нездоровится. Постарайся немного заменить меня. Если тебя интересует письмо, где я писала о Соланж (ее дочь), спроси его у Шопена. Я писала его для вас обоих, и ему оно, по-видимому, не доставило особенного удовольствия. Он принял его очень к сердцу, а между тем, видит Бог, мне вовсе не хотелось огорчать его».

Луи Эно, часто посещавший Жорж Санд и Шопена, приводит несколько мелких эпизодов из их жизни, показывающих, что в этой жизни было много поэзии и что было время, когда они оба чувствовали себя хорошо друг с другом. Он рассказывает, что однажды вечером они сидели втроем – он, Жорж Санд и Шопен – перед горящим камином. Жорж Санд начала, как она это часто делывала, оставаясь одна с Шопеном, думать вслух: она вспоминала свою возлюбленную деревню в Берри и нарисовала целую картину прелестей мирной деревенской жизни.

– Как вы хорошо говорили, – наивно сказал Шопен.

– Вы находите? – ответила она. – Ну так переложите мои слова на музыку.

Шопен тотчас же сел за рояль и принялся импровизировать настоящую пасторальную симфонию.

Жорж Санд стала около него и, ласково положив ему руку на плечо, сказала: «Courage doigts de veliurs» [7].

У Жорж Санд была маленькая собачка, с которой она любила играть и возиться. Однажды, во время своей возни с собачонкой, она сказал Шопену: «Если бы у меня был ваш талант, я бы сочинила какое-нибудь музыкальное произведение в честь этой собаки». Шопен послушно направился к фортепьяно и сочинил своей прелестный вальс ор. 64, который среди его друзей и учеников так и назывался: Valse du petit chien[8].

Под влиянием своей любви к Жорж Санд Шопен на время даже отказался от аристократических салонов и проводил свои вечера в кружке артистов и писателей, собиравшихся у нее. Тут он познакомился с Пьером Перу, Бальзаком, Делакруа, Луи Бланом и другими. Луи Блан в своей «Истории революции 1848 года» описывает следующий эпизод.

Рассказывая о предсмертной болезни теперь уже совсем забытого республиканского писателя Годфруа Кавеньяка, он говорит: «Незадолго до смерти им вдруг овладело необыкновенное желание еще раз услышать музыку. Я знал Шопена и предложил привезти его, если доктора ничего не будут

иметь против этого. Получив их согласие, я отправился за Шопеном и застал у него мадам Санд. Она была очень растрогана моим рассказом, и Шопен тотчас же с полной готовностью решился следовать за мной. Я повел его в комнату умирающего, где стояло плохое фортепиано. Великий артист начал играть, но внезапно игра его была прервана рыданиями. Годфруа в порыве восторга, который на мгновение вернул ему физические силы, приподнялся на постели, и слезы текли по его лицу. Шопен остановился очень встревоженный. Больной сделал над собой усилие, постарался улыбнуться и сказал, обратясь к матери: „Не беспокойся, мама, это ничего… О как прекрасна музыка в таком исполнении!“»

Все посещавшие Жорж Санд артисты были большими поклонниками Шопена; многие, например, Делакруа, искренно любили его как человека, но он холодно относился к ним и чувствовал себя неуютно в этом обществе. Его тянуло в большой свет, и только любовь к Жорж Санд заставляла его некоторое время вращаться в артистическом кругу.

Когда у Жорж Санд собирались гости, она тотчас же посылала за Шопеном. Он всегда был героем вечера. Жорж Санд умела подмечать его настроение, и, когда настроение оказывалось подходящим, она заставляла его играть. Но это не всегда удавалось: часто Шопен был не расположен играть и занимал общество разными мимическими представлениями. Мы уже говорили про его мимический талант: он мог передразнить кого угодно и однажды изображал даже Фридриха Великого. В этих передразниваниях он обнаруживал неистощимый юмор и заставлял смеяться до слез. По поводу его передразниваний рассказывают следующий уморительный эпизод.

Когда один польский музыкант, Новаковский, приехал в Париж, он просил Шопена познакомить его с Листом и Пиксисом. Шопен, смеясь, ответил, что не стоит с ними знакомиться, потому что он сейчас же может их ему показать. Он сел за фортепьяно и начал изображать сначала Листа, потом Пиксиса. Вечером они вместе пошли в театр. Во время антракта Шопен вышел из ложи, и Новаковский остался один. Вдруг в ложу вошел Пиксис. Новаковский, думая, что это Шопен опять начал свои передразнивания, дружески хлопнул новоприбывшего по плечу и сказал: «Перестань, не передразнивай больше».

Можно себе представить изумление Пиксиса. В эту минуту как раз подоспел Шопен и со свойственными ему тактом и грацией сумел уладить дело так, что Пиксис даже не обиделся.

Среди новых знакомых Шопена был и Гейне, являвшийся его восторженным поклонником. Приведем то, что он говорит о

Шопене в своей «Lutezia» (письма о парижском искусстве). Эти несколько строчек обрисовывают самую сущность личности Шопена, лучше чем разные бесконечные характеристики и многотомные биографии: «Шопен родился в Польше от французских родителей и довольно много путешествовал по Германии. Такое совместное влияние трех различных национальностей делает его личность в высшей степени интересной. Он соединяет в себе все то лучшее, что есть в каждой из этих наций: Польша дала ему свой рыцарский дух и свою историческую скорбь; Франция – свою легкую грацию и привлекательность; Германия – свою романтическую глубину. Природа дала ему красивую, стройную, несколько сухощавую фигуру, благородное сердце и гений. Да, у Шопена нельзя отрицать гения в полном смысле этого слова: он не только виртуоз, он поэт, он умеет воспроизводить перед нами ту поэзию, которая живет в его душе. Он композитор, и ничто не может сравниться с наслаждением, которое доставляют его импровизации. Тогда он перестает быть и поляком, и немцем, и французом и обнаруживает свое более высокое происхождение. Тогда тотчас же становится ясно, что он уроженец той страны, откуда происходят Моцарт, Рафаэль, Гете, что его настоящая родина – волшебный мир поэзии. Когда он сидит за фортепьяно и импровизирует, мне кажется всегда, что меня посещает соотечественник из той далекой дорогой страны и рассказывает мне про удивительные события, происходящие там во время моего отсутствия. Иногда мне хочется прервать его вопросом: „А как поживает та прекрасная нимфа, которая так кокетливо набрасывала серебристую вуаль на свои зеленые локоны? Что, седовласый морской бог все так же преследует ее своей глупой любовью? Что, гордые розы у нас все так же ярко горят и деревья так же чудно поют, озаренные лунным светом?“»

Лето Шопен обыкновенно проводил в имении Жорж Санд, в замке Ноган, в Берри. Здесь он написал почти все произведения, изданные им в период от тридцать девятого до сорок седьмого года. В Париже ему трудно было заниматься: уроки и масса знакомых постоянно отвлекали его. В деревне же он старался наверстать потерянное зимой время.

Шопен всегда очень любил деревню, но Жорж Санд рассказывает нам, что эта любовь имела несколько платонический характер. В Париже он всегда страстно стремился в Ноган и первое время, когда приезжал туда, делался совсем другим человеком: физические силы его укреплялись, и он становился весел, как ребенок, радуясь всему, что его окружало. Но долго прожить в деревенской тишине он не мог: его начинало

опять тянуть в Париж, в его обычную, светскую обстановку, и он не мог дождаться отъезда из замка.

Замком назывался простой дом незатейливой архитектуры, окруженный большим парком. Неподалеку от парка протекала окаймленная тенистыми вязами река Индра. Кругом во все стороны расстилались поля и зеленеющие холмы. Этот мирный уголок был как бы создан для отдыха и работы.

Жизнь здесь постоянно обновлялась благодаря приездам гостей. Жорж Санд была очень гостеприимной хозяйкой, в Ногане у нее обыкновенно гостило несколько человек из числа ее парижских друзей. Наиболее частыми посетителями ее бывали Лист и графиня д'Агу, знаменитая певица Виардо со своим мужем, Делакруа и другие. Днем все обыкновенно занимались чем-нибудь: мужчины охотились, дамы читали, Лист и Шопен предавались своим сочинениям, Жорж Санд – писала. Вечером все сходились вместе, гуляли по берегу Индры или устраивали домашние концерты. Одним из любимых развлечений всей компании был домашний театр, в котором ставились шарады, пантомимы и даже серьезные комедии и драмы. Особенно любили все разные драматические импровизации: давалась главная тема пьесы, а затем каждый уже по-своему должен был разрабатывать свою роль. Лист и Шопен изображали оркестр и старались приспосабливать свою игру к тому, что происходило на сцене. Шопен первый ввел в моду эти представления, предложив однажды устроить пантомиму, которую он сопровождал музыкальной импровизацией. От пантомимы перешли и к другого рода представлениям.

Один близкий друг Жорж Санд, Роллина, рассказывает в своих «Воспоминаниях о Ногане» много любопытных подробностей об образе жизни в имении Жорж Санд. Он рассказывает между прочим о том, как однажды вечером рояль вынесли на террасу, где было сильное эхо, и какое чарующее впечатление производили игра Листа и Шопена и пение мадам Виардо, повторяемые эхом. Казалось, что вся природа откликается на эти чудные звуки и вторит им.

Роллина дает также несколько любопытных подробностей, характеризующих взаимные отношения Шопена и Листа. Он рассказывает, что однажды Лист играл какое-то произведение Шопена и позволил себе сделать в нем некоторые изменения по своему вкусу. Шопен был очень щепетилен на этот счет и не мог удержаться, чтобы не сказать ему: «Мой дорогой друг, если вы делаете мне честь играть мои сочинения, то я просил бы вас играть их так, как они написаны, или же играть что-нибудь другое». Лист, немного рассерженный, встал из-за фортепьяно и

предложил Шопену занять его место. Шопен начал играть и играл так удивительно хорошо, что Лист забыл свое недавнее неудовольствие и сказал ему: «Вы были правы. Произведения гения должны быть священны, и всякое прикосновение к ним есть профанация. Вы настоящий поэт, и я не могу с вами равняться». – «У каждого из нас свой жанр», – ответил Шопен.

Но самолюбивый Лист не мог забыть этого эпизода и решился отомстить Шопену за его торжество над ним. На другой день вечером, когда все опять собрались вместе, Лист начал просить Шопена сыграть что-нибудь. Шопен согласился и по своему обыкновению спустил шторы и потушил лампы, чтобы играть в темноте. Но, в то время как он направлялся к роялю, Лист подошел к нему, шепнул ему что-то на ухо и сел вместо него за фортепьяно. Он сыграл ту самую пьесу, которую Шопен играл накануне; все остались в восторге и были убеждены, что слышат Шопена. После окончательного аккорда Лист внезапно зажег свечи, и присутствовавшие, к своему большому изумлению, увидели, что за фортепьяно сидит не Шопен, а Лист.

– Ну, что вы на это скажете? – спросил Лист своего соперника.

– Я скажу то же, что все: я сам думал, что слышу Шопена.

– Вы видите, – сказал виртуоз, поднимаясь с своего места, – что Лист может быть Шопеном, когда пожелает. Но может ли Шопен быть Листом?

Насколько можно доверять этому рассказу – трудно сказать. Вероятно – в нем много преувеличенного и, может быть, даже прямо выдуманного, но что-нибудь в этом роде, по-видимому, действительно было. Несмотря на восторженную книгу Листа о Шопене и на его постоянные уверения в дружбе к нему, они вряд ли были настоящими друзьями. Они чрезвычайно уважали друг друга как артисты, но между ними всегда существовала известная jalousie de métir[9], мешавшая их близости. Особенно Шопен мучительно завидовал Листу и его шумным триумфам. Во многих мимолетных словах Шопена о Листе звучит какая-то горечь. Так, например, когда он узнал, что Лист собирается написать рецензию об одном из его концертов, он сказал с иронической усмешкой: «Он уделит мне маленькое королевство в своем громадном царстве». (Il me donnere petit royaume dans son immense empire). Лист как победитель относился к нему с большей благосклонностью и, может быть, даже искренно чувствовал к нему симпатию, но никакой близости между ними не было. Лист сам говорит, что сдержанный Шопен никогда не давал ему заглянуть в свой внутренний мир.

В Ногане Шопен большую часть времени отдавал своим

сочинениям. Интересно, что говорит такая тонкая наблюдательница, как Жорж Санд, о его работе и процессе творчества. Она рассказывает, что главная тема всегда внезапно возникала в его душе уже в законченном виде. Часто она являлась ему во время какой-нибудь прогулки, и он спешил домой, чтобы поскорее сыграть ее себе. «Но потом, – говорит Жорж Санд, – начиналась самая ужасная, мучительно-напряженная работа, какую я когда-либо видела. Ему стоило бесконечных усилий разработать эту тему, схватить все ее оттенки и восстановить ее в том виде, в каком она первоначально прозвучала в его душе. Он на целые дни запирался в своей комнате, рыдал как ребенок, ломал перья, тысячу раз писал и перечеркивал какой-нибудь один такт и на другое утро снова принимался за то же самое. Иногда он бился в течение нескольких недель над одной страницей и в конце концов писал ее так, как она была у него первоначально набросана».

Жорж Санд говорит, что она постоянно старалась убедить его доверяться своему первоначальному настроению. Иногда он слушался ее и переставал так отчаянно биться над работой. Но большей частью она бывала не в силах переубедить его. Тогда, видя, что он совершенно изнуряет себя, она часто насильно отрывала его от работы и на несколько дней увозила куда-нибудь в соседнюю деревню, в красивую местность. После продолжительного путешествия в солнце и в дождь, по ужасным дорогам, Шопен как будто начинал оживать и отдыхал от преследовавших его музыкальных кошмаров. Возвращаясь в Ноган с такой экскурсии, он опять принимался со свежими силами за работу и без особенного труда достигал того, чего хотел. Но не всегда удавалось отвлечь его от фортепиано. Временами он раздражался, когда ему мешали, и тогда Жорж Санд не решалась настаивать. Она говорит, что Шопен, когда он сердился, бывал ужасно жалок; с нею же он всегда сдерживался и делал над собой такие усилия, что она всегда оставляла его в покое в эти минуты.

Зимой Шопен был преимущественно занят уроками. Хотя сочинения его расходились довольно хорошо и приносили ему большие доходы, он постоянно нуждался в деньгах[10]. Он совсем не умел справляться с деньгами и не придавал им никакого значения, хотя любил роскошь и никогда ни в чем себе не отказывал. Кроме своих прихотей, он тратил много денег на благотворительность – в особенности разные бедные соотечественники постоянно стоили ему больших денег. Он вообще был очень щедр во всех отношениях: любил делать подарки своим друзьям, постоянно посылал целые транспорты

дорогих безделушек родным в Польшу и разбрасывал деньги направо и налево. Лакею он платил такое огромное жалованье, что в одном из писем к своему сыну Жорж Санд шутя говорит, что нужно отдать Шопена под опеку, потому что он платит своему лакею более, чем получает средний журналист. Из другого письма Жорж Санд мы знаем, что Шопен однажды подарил ее старой служанке, которую он очень любил, шаль, стоившую около ста франков. Все это мелочи, но они очень характерны для Шопена. Да и действительно, трудно было бы представить себе автора таких прелюдий и ноктюрнов экономным, расчетливым человеком.

Уроков у Шопена было достаточно и он не брал меньше двадцати франков за час, так что уроками тоже зарабатывал довольно много денег. Впрочем, у него было много и даровых учеников. С особенно талантливых учеников он почти никогда не брал денег[11]. Были и такие, которых он учил даром, потому что они не могли платить ему. Но большинство его учеников были люди вполне состоятельные и не затруднялись назначенной им высокой платой. Он мог бы гораздо больше зарабатывать уроками, но не хотел утомлять себя и ежедневно занимался не более пяти часов. Кроме того, несколько месяцев в году он всегда проводил в деревне.

Шопен с большой любовью относился к своим урокам. Попасть к нему в ученики было чрезвычайно трудно: он отличался большой требовательностью и брал только тех, которые казались ему талантливыми. Но несмотря на то, что артист с таким разбором принимал к себе учеников и вкладывал всю свою душу в занятия с ними, никто из них не сделался настоящим, большим артистом. В этом отношении он опять-таки оказался менее счастливым, чем Лист, который насчитывает среди своих учеников таких людей, как Бюлов, Тальберг и другие. Главная причина этого явления заключается в том, что большинство из учеников и учениц Шопена принадлежали к аристократическому кругу и не готовились к артистической карьере. Среди них было много талантливых пианистов, и особенно пианисток, но им никогда не пришлось выступать публично. Помимо этого, Шопену особенно не везло с талантливыми учениками. У него был один ученик – маленький венгр Фильтч, который обладал таким феноменальным талантом, что Лист говорил про него: «Когда этот ребенок начнет концертировать, мне придется закрыть свою лавочку». И этот маленький артист, бывший такой гордостью своего учителя, умер еще ребенком, не успев прославиться. Другой очень талантливый ученик Шопена, Гурсберг, тоже умер еще совсем молодым.

Любимым учеником Шопена был Гутман, сделавшийся потом довольно известным композитором и учителем музыки. Он был очень предан своему учителю и неотлучно ухаживал за ним во время его последней болезни.

Как учитель Шопен обращал главное внимание на туше[12] и на фразировку. Грубая и неотчетливая игра выводила его из себя. Одна из его учениц рассказывает, что когда в классе кто-то небрежно сыграл начало экзерсисов Клементи, Шопен поморщился и сказал: «Что это, здесь только что залаяла собака?»

Он настаивал на том, чтобы ученики его упражнялись не более трех часов в день; иначе, говорил он, они отупеют от бесконечного разыгрывания того же самого. Он заставлял их заниматься теорией музыки и играть musique d'ensèmble. Особенно важным для пианиста он считал частое слушание пения и постоянно советовал своим ученикам почаще ходить в итальянскую оперу. Некоторым он даже советовал брать уроки пения, находя это очень полезным для фортепьянной игры. Принципом всей его преподавательской методы было: играть так, как чувствуешь. Он не выносил безжизненной игры и говорил всегда: «Вкладывайте же свою душу в то, что вы играете». Несмотря на свою сдержанность, Шопен в сущности был очень раздражителен и часто сердился на своих учеников. Особенно доставалось от него разным барышням-любительницам, занимавшимся музыкой для времяпрепровождения. Они часто в слезах уходили с урока. Гутман рассказывает, что у него во время урока всегда была наготове пачка карандашей, которые он ломал в минуты раздражения, чтобы дать какой-нибудь выход кипевшему в нем негодованию. Иногда после урока карандаш оказывался разломанным на маленькие кусочки. И, тем не менее, ученики просто боготворили его.

В концертах Шопен выступал очень редко. В 1841 году он дал два концерта в Париже. Мы уже несколько раз говорили, что Шопен не любил выступать в концертах: большая зала и публика смущали его и мешали развернуться во всем своем блеске. Чем старше он становился, тем сильнее проявлялась у него эта нелюбовь к концертам. К тому же вследствие расстроенного здоровья игра его делалась все слабее и слабее, так что в большой зале его иногда почти не было слышно. Своих вещей он не разучивал перед концертами, а только иногда проигрывал их для памяти, но недели за две до концерта он принимался серьезно штудировать Баха.

Моцарт и Бах были его любимыми композиторами. Характерно, что, несмотря на все его благоговения перед Бетховеном, некоторые вещи в его произведениях казались

Шопену слишком грубыми и необузданными. Точно так же он относился и к другому титану, который в литературе занимает такое же место, как Бетховен в музыке, – к Шекспиру. И в том, и в другом было слишком много огня и могущества для его женственной, болезненно-меланхолической натуры. Лист говорит, что Шопену не нравился слишком бурный, страстный характер многих произведений Бетховена; ему казалось, что в каждой фразе Бетховена проглядывает какая-то «львиная мощь, которая угнетает душу и подавляет ее своим величием». Некоторые вещи, как, например, первую часть Mondschein sonate[13], он очень любил.

Мендельсона и Шумана Шопен совсем не признавал, никогда сам не играл их и ученикам своим давал играть только некоторые «Песни без слов» Мендельсона. Вообще, исключая классиков, он неблагосклонно относился к немецкой музыке и предпочитал ей итальянскую: он был большим поклонником Беллини и Россини и постоянно ходил слушать их оперы.

Период от тридцати семи до сорока семи лет был самым плодотворным в жизни Шопена. Большинство своих лучших произведений он написал за это время, в летние месяцы, проведенные им в Ногане. Все сочинения Шопена можно разделить на два отдела: те, которые написаны им в молодости, имеют преимущественно виртуозный характер, и на них лежит сильный национальный отпечаток; те же, которые написаны им в Париже, имеют более субъективный, нежный, поэтический характер. Вообще же, хотя у Шопена и попадаются некоторые бравурные и грациозно-веселые вещи (например, полонез A-dur, несколько этюдов, три первые баллады и др.), общий тон его сочинений всегда мучительно-грустный. Даже и в сочинениях первого периода, в мазурках и краковяках, в фантазии на польские мотивы звенит эта грустная, щемящая душу нотка. Сам Шопен говорил про себя, что настоящей сутью его души было чувство, которое никогда, даже в минуты самого глубокого счастья, не покидало его, от которого он никогда не мог отделаться и которое проступало во всех его сочинениях; для этого чувства он не мог подыскать другого выражения, кроме непереводимого польского слова zal (русское «жалость» имеет более узкий смысл; по-польски оно значит и сожаление, и тоска, и неудовлетворенное стремление, и грусть). Шопен любил повторять это слово, и действительно оно наложило свой отпечаток на все его произведения.

Все критики Шопена единогласно сходятся в том, что Шопен был великий национальный музыкант, что он явился в музыке выразителем национального характера польского народа. Многие

основные мотивы польских народных песен целиком вошли в его произведения. И не по форме, а именно по духу всех своих сочинений он являлся настоящим национальным музыкантом. Лист говорит про него, что он «никогда не старался писать польскую музыку и вероятно был бы удивлен, если бы его назвали польским музыкантом. А между тем он был таковым в полном смысле этого слова. В его музыке выражалось то поэтическое чувство, которое свойственно всей его нации и живет в сердце каждого его соотечественника. Как все истинные национальные музыканты, он бессознательно вкладывал в свои произведения те чувства и те страдания, которые он видел вокруг себя в детстве и которые вошли ему в плоть и кровь». Особенно много национальных мотивов в полонезах и мазурках Шопена.

Он написал сорок одну мазурку и восемь полонезов. В ранних его мазурках больше наивности и свежести, чем в позднейших, но все они полны оригинальных и разнообразных красот. Шуман говорил, что в каждой из многочисленных мазурок Шопена можно найти какую-нибудь новую, поэтическую черту.

Полонез, «этот исторический танец королей и рыцарей», тоже много раз привлекал к себе Шопена. Он писал полонезы в молодости, еще живя в Варшаве, и писал их незадолго перед смертью (Полонез A-dur, op. 61 – одно из последних произведений Шопена). Особенно замечателен его второй полонез, op. 26, напечатанный в 1836 году. В нем слышится сдержанный ропот народного недовольства, постепенно усиливающийся и доходящий наконец до взрыва, слышатся мерные звуки марша, призывающие к борьбе и победе. Начинается ожесточенная, отчаянная борьба за свободу и национальную независимость. И вдруг все сразу обрывается и замирает… В этом полонезе сошлась вся вековая, историческая скорбь Польши, кратковременный подъем ее национального духа и последовавшая затем трагическая развязка. Совершенно в другом роде написан полонез op. 40 (A-dur) – самый известный из всех полонезов Шопена. В нем как бы запечатлен отзвук прежнего величия Польши.

Один из учеников Шопена рассказывает, что ночью, в то время когда Шопен сочинял этот полонез, ему вдруг почудилось, что двери его комнаты открываются и перед ним проходит длинное шествие польских рыцарей и красавиц-полек в старинных национальных костюмах. Это видение преисполнило Шопена таким ужасом, что он выбежал из своей комнаты как помешанный и потом всю ночь не мог решиться вернуться в нее.

Другое национальное произведение Шопена – Польская фантазия – (op. 61) является одним из самых замечательных его

произведений. Лист говорит, что по красоте и величию эта Польская фантазия превосходит все остальные, написанное маэстро; но в ней столько болезненного, патологического, что Лист считает даже возможным исключить ее из сферы искусства: это не музыка, а одно непрерывное рыдание. Какое-то бесконечное, беспросветное отчаяние пронизывает всю эту фантазию. Некоторые этюды Шопена также проникнуты национальной скорбью. Таков уже упомянутый этюд № 12, ор. 10 (C-dur), написанный под влиянием известия об исходе Польского восстания, и этюд № 3 из той же серии. Последний этюд был одним из любимых произведений самого Шопена. Гутман рассказывает, что когда он однажды сыграл его своему учителю, тот сжал свои руки и с тоской воскликнул: «О моя родина! моя родина!»

Но, будучи национальным музыкантом и изливая в музыке страдания своей родины, Шопен в то же время запечатлевал в ней свою личную жизнь, со всеми ее стремлениями, скорбями, тревогами и так далее. Ни у одного артиста музыка так тесно не соприкасалась с поэзией, как у него: слушая его прелюдии, вальсы или ноктюрны, кажется, будто слышишь какое-нибудь чудное лирическое стихотворение; эти звуки яснее всяких слов говорят о вечном стремлении «dahin, dahin» [14], о той непонятной поэзии, которая заключена в слезах и страдании, о мучительных снах и видениях, овладевавших временами больной душой Шопена. Особенно фантастический характер имеют некоторые его прелюдии, написанные в старом монастыре на острове Майорка, когда ему казалось, что вокруг него встают из могил тени монахов и что воздух оглашается их страшным, замогильным пением. Иные прелюдии имеют совсем другой, более спокойный, мелодичный характер и написаны, очевидно, под примиряющей сенью южной природы, яркого солнечного неба и спокойного моря. По своему общему тону к прелюдиям более всего приближаются ноктюрны и баркарола ор. 60, которую известный пианист Тауэт определил как любовную сцену в гондоле. Ему в этой баркароле слышались и объятия, и поцелуи, и нежный шепот влюбленной пары.

Из крупных произведений Шопена следует упомянуть его две сонаты, сонату для фортепиано и виолончели, посвященную его другу виолончелисту Франшомму, скерцо и баллады. Его знаменитую сонату B-moll с траурным маршем Шуман сравнивал с сфинксом, потому что она оставляет в душе впечатление какой-то мрачной, неразгаданной тайны. Баллады Шопена были навеяны ему поэмами Мицкевича и, по словам Шумана, какой-нибудь поэт легко мог бы подобрать к ним стихи. Это именно

музыкальные сказки, которые невольно наводят на мысль о старых, поросших мхом замках, о красавицах, томящихся в этих замках, о рыцарях и их оруженосцах.

Вальсы Шопена, которые являются одними из самых популярных его произведений, носят совсем другой характер, нежели его польские танцы, ноктюрны и прочее. Это блестящие элегантные вещицы, принадлежащие скорее к типу салонной музыки. Шуман замечает про один из этих вальсов, что его можно играть только в том случае, если по крайней мере половина из присутствующих дам княгини. Но и в эти небольшие, светские продукты своей музы Шопен влагал свойственную ему поэзию и грусть, и некоторые из них представляют собой настоящие маленькие поэмы; таков, например, вальс A-dur, бывший любимым вальсом самого Шопена. Самый известный из его вальсов – прелестный, грациозный вальс D-moll (op. 64), так называемый valse du petit chien, написанный в честь собачки Жорж Санд.

Четыре скерцо Шопена совсем не оправдывают своего назначения: в них нет того живого, светлого элемента, который обыкновенно характеризует скерцо. «В какое же одеяние должна облечься *печаль,* если *веселье* закутывается в траурное покрывало?» – восклицает по этому поводу Шуман. И действительно, скерцо Шопена совершенно лишены всякого веселья и жизнерадостности. В них есть то, чего нет в его прочих произведениях – в них звучит не поэтическая тоска или нежная грусть, а слышится сильный, могучий гнев. Шуман сравнивает второе скерцо с «поэмами Байрона, такими нежными и смелыми, полными и любви и злобы».

Этот краткий очерк сочинений Шопена, конечно, не должен служить характеристикой Шопена как музыканта: мне хотелось только отметить основные мотивы шопеновской музыки и показать, в какой тесной связи она находится с личностью самого автора.

Глава VI

Разрыв Шопена с Жорж Санд. – Психологические мотивы, обусловливающие этот разрыв. – Повод к нему. – Отъезд Шопена в Англию. – Состояние его духа в последние годы жизни. – Расстроенное здоровье. – Последняя болезнь Шопена. – Его смерть.

В 1847 году произошла страшная катастрофа в жизни Шопена – он разошелся с Жорж Санд. Эта развязка давно уже готовилась и ни для кого из знавших их не была неожиданностью. За последние годы отношения между ними значительно ухудшились. Когда первая поэзия любви прошла, то разница в их характерах и в их мировоззрении стала выступать на первый план. Они были слишком разные люди, чтобы долго быть счастливыми вместе: все, что составляло смысл жизни для Жорж Санд, для Шопена не имело никакого значения. Она понимала его музыку и преклонялась перед его талантом, но он всегда стоял в стороне от литературы и не интересовался ею. Он очень мало читал, и то преимущественно по-польски; Мицкевич был его любимым поэтом. Говорят, что даже романы Жорж Санд он читал не все. Один из друзей Жорж Санд, философ Пьер Леру, очень любивший Шопена, постоянно дарил ему свои сочинения, но они так и лежали у него на столе неразрезанными. Между тем, известно, какое влияние имели идеи Пьера Леру на умственное развитие Жорж Санд. Вообще, политика и философия для него не существовали. Таким образом, Шопен оставался совершенно чужд тому, что поглощало все мысли любимой им женщины, что составляло содержание ее духовной жизни. Конечно, это должно было охлаждающе действовать на нее после того, как миновал период страсти и настало трудное время повседневной совместной жизни. Кроме того, все, даже лучшие друзья Шопена, соглашаются, что у него был очень тяжелый характер. Он был неотразимо мил и обаятелен в обществе, но дома часто раздражался по пустякам, впадал в ипохондрию, целыми днями бывал не в духе. Особенно капризен, раздражителен и невыносим он бывал во время болезни, а хворал он очень часто. Много нужно было иметь терпения и кротости, чтобы справляться с ним. Пока Жорж Санд любила его, она удивительно умела за ним ухаживать, предупреждала все его прихоти и смиряла его капризы. Но когда любовь начала проходить, она другими глазами взглянула на все это и ее «malade ordinaire» [15], как в шутку называл себя Шопен, попросту говоря, надоел ей. Он требовал слишком много внимания и забот, слишком исключительной, самоотверженной

преданности, а на это Жорж Санд была не способна. Да и нельзя обвинять ее за это: она сама была слишком талантливым человеком, у нее было свое дорогое ей дело, которое она не хотела бросать ради того, чтобы сделаться сиделкой Шопена. Он сам понимал это и никогда ничего от нее не требовал. Жорж Санд говорит, что они никогда не ссорились и не упрекали друг друга и что их последняя ссора перед разрывом была и первой. Но тем не менее Шопен мучительно страдал, что любимая им женщина не вполне отдавалась ему. Ему хотелось, чтобы она была занята исключительно им, все время проводила бы с ним и ни на кого другого не смотрела. Литературная богема, окружавшая ее, неизбежные для писательницы столкновения с издателями, журналистами, актерами, театральными воротилами, наконец, ее прошлое и постоянная возможность повторения того же самого в будущем – все это не давало ему покоя. Он начинал тяготиться парижской жизнью, вспоминал свою мирную, хорошую семью в Польше и мечтал о чистой, безупречной женщине, всецело преданной мужу и детям, какою была его мать. Жорж Санд говорит, что он постоянно вспоминал о своей матери, и замечает даже, что мать была его единственной страстью. Но во всяком случае страсть его к Жорж Санд была сильнее этой страсти к матери, потому что, несмотря на свою тоску по семье, он все-таки не мог решиться расстаться с Жорж Санд. Последние годы, по выражению Гейне, должность его при Жорж Санд была синекурой: его заменили другие. Шопен все это видел, ревновал до безумия, сознавал всю унизительность своего положения и все-таки не мог найти в себе силы порвать свои отношения с нею. Уже этого одного факта достаточно, чтобы показать, насколько Шопен любил ее, если он, этот гордый, избалованный женщинами человек, бывший всегда таким безупречным джентльменом, мог прощать Жорж Санд ее измены. Гутман рассказывает, что однажды, узнав о новом увлечении Жорж Санд, он сказал ему с отчаянием: «Я бы на все это закрывал глаза, только бы она позволила мне жить в Ногане».

Будь Жорж Санд другой женщиной, она никогда не решилась бы разойтись с Шопеном, зная, как это тяжело на нем отразится. Она, которая постоянно так настаивала на своих «материнских чувствах» к Шопену, в данном случае поступила совсем не по-матерински: мать не бросила бы своего больного, почти умирающего ребенка. Но если бы Жорж Санд была другой женщиной, может быть, Шопен не любил бы ее такой непреодолимой, всепрощающей любовью. Постепенно они начали удаляться друг от друга. Шопен опять стал бывать в аристократическом обществе, которое он на время забросил,

предпочитая проводить вечера в артистическом кругу, собиравшемся у Жорж Санд; но все его успехи у светских красавиц, у разных княгинь и графинь не могли примирить его с мыслью об охлаждении к нему любимой женщины, и он почувствовал себя очень несчастным. Жорж Санд в это время была занята совсем другим: приближалась революция 48 года, и в кружке писателей, среди которых она вращалась, все только и говорили о социальных и политических вопросах. Ей некогда было думать о Шопене и его страданиях. Кроме того, у нее было много хлопот и неприятностей с детьми, с родными. У нее было также достаточно своего горя, и Шопен опять-таки оставался совсем чужд всему этому. Жорж Санд сама говорит, что дружба Шопена (она всегда говорит только о «дружбе») никогда не служила ей поддержкой в горе: он был так поглощен тем, что происходило у него в душе, что не в состоянии был думать ни о чем и ни о ком другом. И действительно, трудно себе представить Шопена в роли утешающего друга и помощника в житейских невзгодах. Он сам постоянно нуждался в утешении и не умел поддерживать других.

Одним из главных поводов к разрыву их отношений послужило появление на свет романа Жорж Санд «Лукреция Флориани», сюжет которого – любовная история, чрезвычайно напоминающая по своему настроению историю любви Шопена и Жорж Санд. Сама Жорж Санд уверяла, что этот роман не имеет ничего общего с романом, разыгрывавшимся в ее жизни, что самые основания ее любви к Шопену были совсем другие и что князь Кароль нисколько не походит на Шопена; но тем не менее всякий читатель, немного знакомый с биографией Шопена, увидит, что Кароль очень походит на него, хотя, конечно, он не исчерпывает собою всех сторон характера великого артиста и делает его отчасти карикатурной фигурой. Да и сама фабула романа невольно напрашивается на сравнение с действительностью: изнеженный, избалованный, аристократически воспитанный князь Кароль влюбляется в известную актрису Лукрецию Флориани, которая, не будучи замужем, имеет трех детей от различных отцов.

Разные мелкие черты характера Кароля, прямо списанные с Шопена, были узнаны всеми и прежде всего им самим. Да если бы он как-нибудь случайно и не узнал себя в этом герое, то во всяком случае это не долго могло остаться для него тайной благодаря прозрачным намекам и пересмеиваньям разных милых друзей. Можно себе представить, как страдало его самолюбие, видя историю их любви, отданную на всеобщий суд. Но он снес и этот удар и все-таки не решался порвать своей связи.

Первая и последняя ссора их, повлекшая за собой разлуку, произошла по следующему поводу: Жорж Санд поссорилась со своей недавно вышедшей замуж дочерью, отказала ей от дома и написала Шопену, который в то время был в Париже и собирался ехать в Ноган, чтобы он тоже не принимал их. Франшомм, бывший у Шопена, когда тот получил это письмо, рассказывает, что Шопен сказал ему: «У них (то есть у дочери Жорж Санд и ее мужа) теперь никого нет, кроме меня. Неужели же я отвернусь от них? Нет, я этого не сделаю». И он действительно не сделал этого, из-за чего и произошла его последняя, окончательная ссора с Жорж Санд. «Бедный друг, каким страдающим я видел его», – прибавляет Франшомм.

Жорж Санд несколько иначе, чем все другие, рассказывает об этом. Она говорит, что причиной их разлуки была ссора Шопена с ее сыном: «Шопен не хотел перенести моего необходимого и законного вмешательства в их ссору. Он опустил голову и сказал, что я больше не люблю его. Какое оскорбление после этих восьми лет материнских попечений! Его бедное, измученное сердце не сознавало своего бреда. Я думала, что несколько месяцев, проведенные в разлуке и спокойствии, залечат рану и вернут ему память и прежнюю спокойную дружбу ко мне. Но тут наступила Февральская революция, и Париж сделался ему невыносим».

Таким образом, по объяснению Жорж Санд, главной причиной их разрыва была Февральская революция, заставившая Шопена выехать из Парижа. Едва ли это было так: не Февральская революция, а она сама побуждала Шопена уехать в Англию, где он пробыл всего около года и затем опять вернулся во Францию.

После ссоры они раз только мельком виделись в обществе. Жорж Санд рассказывает, что она хотела заговорить с ним, но он ускользнул от нее.

Интимные отношения людей никогда не могут быть вполне понятны для посторонних, особенно если нет каких-нибудь подлинных документов вроде писем и дневников, а есть противоречивые и пристрастные показания знакомых. Тут трудно быть судьей, трудно сказать, кто прав, кто виноват. Но сочувствие невольно обращается на сторону того, кто больше страдает, а в данном случае несомненно, что Шопену их разлука обошлась несравненно труднее, чем Жорж Санд. Конечно, Жорж Санд имела свои причины быть недовольной Шопеном, и, вероятно, он доставлял ей много горьких минут, но когда читаешь письма Шопена, писанные им из Англии, то невольно чувствуешь некоторое ожесточение против этой женщины, бросившей такого больного, истерзанного человека на произвол судьбы и доставившей ему столько мучений. Разрыв с Жорж Санд

совершенно надломил его силы: он не мог даже сочинять и ничего больше не писал с тех пор. Это был конченый человек, совершенно разбитый и физически, и нравственно. Приведем несколько отрывков из его писем из Англии, куда он поехал вскоре после свой разлуки с Жорж Санд. Он пишет Гжимале: «Спасибо вам за ваши милые строчки и за приложенное к ним письмо от моих. Слава Богу, что они все здоровы, только зачем они беспокоятся обо мне? Мне не может быть тяжелее чем теперь, и настоящей радости я уже давно не испытывал. Я больше ничего не чувствую, я только прозябаю и терпеливо жду своего конца… Не буду писать вам иеремиады, не потому, что вы не можете меня успокоить, а потому, что вы единственный человек, который все знает; если бы я начал жаловаться, то этому бы не было конца, и все в одном тоне. Впрочем, я не прав, когда говорю, что все в одном тоне, потому что мне со дня на день делается все тяжелее и тяжелее. Я чувствую себя слабее, я не могу сочинять… Я никогда не проклинал, но теперь я чувствую такую усталость и такое отвращение к жизни, что я почти готов проклинать Лукрецию[16]. Но она тоже страдает и стареет в своей злобе». Эта фраза о «проклятии Лукреции» очень нехарактерна для обыкновенно столь сдержанного, изысканного в своих выражениях Шопена: должно быть, очень уж у него наболело на душе, раз у него вырываются такие сильные слова.

Зачем Шопен поехал именно в Англию, он и сам хорошенько не знал. Ему хотелось просто переменить обстановку и быть подальше от Парижа. В Англии у него было много друзей, и он был уверен, что найдет там хороший прием.

В конце апреля 1848 года он прибыл в Лондон и намеревался провести там неопределенно долгое время. Он имел в виду дать там несколько концертов, но потом раздумал: здоровье его было слишком расстроено, он боялся волнений и хлопот, связанных с концертами, и не хотел в первый раз неудачно выступить перед английской публикой, которой вообще был очень мало известен. Сочинения его тогда еще не были популярны в Англии, и большинство музыкальных критиков относилось к ним не особенно благосклонно. Но так как ему очень нужны были деньги, то он устроил два музыкальных утра в частном доме у своих знакомых. Он знал, что может рассчитывать на больший успех в маленькой зале, среди привычной ему обстановки аристократического дома, чем в каком-нибудь обширном концертном помещении. И он не ошибся: фешенебельная публика осталась очень довольна его изящной, поэтической игрой и он собрал довольно значительную сумму денег.

Но даже и такие наполовину публичные музыкальные утра

были для Шопена настоящей пыткой; да это и неудивительно, если вспомнить, что он был тогда уже так слаб, что не мог сам всходить на лестницу: его должны были на руках вносить в залу, где он играл.

Вскоре после своих дебютов Шопен уехал в Шотландию, в имение лорда Торнпшена – родственника одной его большой поклонницы, мисс Стирлинг. Мисс Джэн Стирлинг происходила из старинной шотландской семьи, была очень богата и замечательно хороша собой. Говорят, что Эри-Шеффер несколько раз списывал с нее свои женские фигуры. В сорок шестом году она приехала в Париж, чтобы заниматься музыкой, там познакомилась с Шопеном и с тех пор сделалась его неизменной горячей поклонницей. Говорят, что она была очень влюблена в него и с удовольствием вышла бы за него замуж. Но сам Шопен совершенно не разделял ее чувств: он хорошо относился к ней, но совсем не любил ее и о браке с ней не думал. Да и вообще не до любви ему тогда было. Доктор Лещинский, близко знавший Шопена во время его пребывания в Англии, рассказывает, что Шопен однажды сказал ему: «Они хотят женить меня на мисс Стирлинг! Она с таким же успехом могла бы выйти замуж за смерть». Нужно заметить, что мисс Стирлинг была значительно старше Шопена, и этим отчасти объясняется его полное равнодушие к ней: Жорж Санд была единственной женщиной, которую он любил несмотря на то, что она была старше его. Вообще же он признавал только очень молодых женщин.

В Шотландии он, по его собственному выражению, «кочевал от одного лорда к другому, от одного герцога к другому и всюду носил с собою свою хандру и нездоровье». В Шотландии, как и везде, он скоро сделался общим любимцем и баловнем, и разные лорды и герцоги старались хоть на время завлечь его в свои поместья. Изысканная роскошь и комфорт, царившие в их старинных замках, очень нравились Шопену: чудные рояли, картины, библиотеки, изящная обстановка, прекрасный стол, дорогие вина и, главное, необыкновенная любезность и радушное гостеприимство хозяев – все это вполне соответствовало его вкусам и привычкам и не оставляло желать ничего лучшего. И тем не менее он страшно скучал в Англии и чуть ли не с первых дней своего приезда туда начал стремиться обратно в Париж. Англичане, несмотря на всю их любезность, были ему не по душе, и климат туманного Альбиона губительно действовал на его здоровье. Вот как сам он описывает свое времяпрепровождение в Шотландском замке (в письме к Гжимале): «Все утро я чувствую себя неспособным что-либо делать; процесс одевания так утомляет меня, что после него я должен отдыхать некоторое

время. После обеда я должен часа два сидеть с мужчинами, слушать, как они разговаривают, и смотреть, как они пьют вино, в то время как я чувствую себя усталым и мне скучно до смерти – я стараюсь думать о чем-нибудь другом и затем должен идти в гостиную, где прилагаю все усилия к тому, чтобы немного оживиться, так как они жаждут слышать мою игру. Потом мой добрый Даниэль (его лакей) вносит меня наверх, в мою комнату, раздевает меня, кладет в постель, зажигает свечу, и тогда наконец я остаюсь на свободе: могу вздыхать и мечтать до утра; затем опять начинается день, совершенно такой же, как предыдущие. Когда я начинаю немного привыкать к какому-нибудь замку и чувствовать себя в нем дома, я опять должен ехать в другое место. Мои шотландские дамы не дают мне ни минуты покоя – конечно, делая это с самыми лучшими намерениями. Они приезжают за мной и увозят, чтобы показывать своим бесчисленным родственникам. В конце концов они убьют меня своей добротой, и я из любезности должен все это переносить».

В Шотландии Шопен несколько раз выступал публично: он играл в Эдинбурге и в Глазго. Концерты его хорошо посещались, но большую часть публики составляли все те же аристократы, многие из которых даже приезжали из окрестных поместий, чтобы послушать своего любимого пианиста. Цена на билеты была назначена высокая (по полгинеи, около пяти рублей на наши деньги), и рассказывают, что мисс Стирлинг, боясь, что не найдется охотников платить за билет столько денег, скупила ползалы в Эдинбургском концерте, так что в материальном отношении концерты тоже удались.

В конце октября Шопен вернулся в Лондон и пробыл там всего около трех месяцев; здоровье его все более и более расстраивалось, и англичане делались ему все более невыносимы. Он отдыхал только в обществе своих соотечественников и единственный раз решился публично выступить в Лондоне в благотворительном концерте в пользу бедных поляков. За концертом следовал бал, и большинство публики приехало ради танцев: музыкой никто не интересовался и ему пришлось играть в почти пустой зале. Он чувствовал себя очень нехорошо в этот вечер, силы совсем оставили его, и его исполнение производило удручающее, жалкое впечатление.

Друзьям его, присутствовавшим в зале, было мучительно больно за великого артиста, которому пришлось пережить такой упадок своего таланта.

Это был последний концерт в жизни Шопена.

Понятно, что после своей неудачи на польском балу Шопен еще сильнее начал стремиться в Париж. Он писал Гжимале

длинные письма с подробными инструкциями, как ему устроить квартиру, какой рояль ему поставить в комнату, и так далее. Между прочим он просит купить букет фиалок и поставить его в гостиной, чтобы там хорошо пахло. «Итак, в четверг я наконец уеду из этого невыносимого Лондона, – пишет он в одном письме, – в пятницу я буду уже в Париже. Еще один день здесь – и я сойду с ума или умру! Мои шотландские дамы очень добры, но так скучны, что… Боже, сжалься надо мной! они так ко мне пристали, что мне нелегко от них избавиться».

Один из знакомых Шопена, ехавший вместе с ним из Лондона в Париж, рассказывает, что Шопен всю дорогу волновался и радовался как ребенок и был в необыкновенном восторге, когда они издали увидели берег Франции. Проезжая мимо поля, поблизости от Булони, Шопен сказал своему спутнику, указывая на пасущееся стадо: «Видите этих овец: все они умнее англичан!»

Уезжая из Англии, Шопен все еще надеялся, что здоровье его может поправиться и что Париж вернет ему силы. Но этим надеждам не суждено было сбыться. Последние месяцы его жизни (он умер в октябре сорок девятого года) представляли собой медленное, мучительное угасание: Шопен уже давно был болен. Будучи от природы слабым и обладая наследственной предрасположенностью к грудным болезням (его младшая сестра умерла от чахотки), он постоянно хворал; каждая незначительная простуда разыгрывалась у него в серьезную грудную болезнь, каждое волнение и неприятность вызывали упадок сил, нервное расстройство, бессонницу и головные боли. Жюль Жанэн говорит, что «последние десять лет он прожил каким-то чудом, в таком состоянии, когда каждую минуту мог бы умереть». У него был такой изнуренный, страдальческий вид, что его давно уже считали добычей смерти и удивлялись, как он еще может жить. Еще задолго до его смерти слухи о том, что он умер, несколько раз распространялись в обществе. Но, как у всех очень нервных людей, периоды слабости временами сменялись у него периодами нервного подъема, силы и бодрости. Геллер говорит, что «сегодня он лежал больной у себя в комнате, а завтра в легком пальто весело разгуливал по бульвару».

Но по возвращении из Англии его обычная грудная болезнь обострилась и приняла очень серьезный характер. О прогулках по бульвару нечего было и думать. Он почти уже не выходил из дому и целые дни был прикован к своему дивану. Кроме физических страданий, его страшно мучила неспособность работать и связанные с этим материальные затруднения. Он уже не был в состоянии ничего сочинять и после своего разрыва с Жорж Санд не написал ни одной вещи. Играть публично он, конечно, не мог.

Наконец, последний источник доходов – частные уроки – тоже исчез: он был слишком болен, чтобы заниматься с учениками. Деньги, привезенные из Англии, скоро все были истрачены, и умирающий человек остался без всяких средств к существованию.

Виолончелист Франшомм, бывший близким другом Шопена и заведовавший его денежными делами, был в большом затруднении, не зная, как ему помочь в этом случае, и решил наконец через посредство знакомых обратиться к мисс Стирлинг. Он написал ей, в каком положении находится великий артист, которому она так поклонялась, и мисс Стирлинг тотчас же прислала на имя Шопена 25 тысяч франков. Но деньги не сразу дошли до адресата, а вокруг этого факта из жизни Шопена сложилась целая легенда. Новейший биограф Шопена Никс, который вообще с необыкновенной осторожностью относится к своему материалу, говорит, что сам он слышал от одной из учениц Шопена, бывшей свидетельницей всего дела и, по его мнению, заслуживающей полного доверия, следующий рассказ. Эта ученица, мадам Рубио, по просьбе Франшомма, написала письмо мисс Стирлинг и вскоре получила от нее ответ с уведомлением, что Шопену уже давно посланы 25 тысяч франков. Мадам Рубио и Франшомм были очень удивлены этим известием, так как оба они несомненно знали, что Шопен никаких денег не получал. Они начали исследовать это дело, но все их попытки оказались тщетными. Тогда кто-то посоветовал мадам Рубио обратиться к проживавшему в Париже медиуму и ясновидцу Александру. Александр сказал, что деньги находятся у привратницы дома, в котором жил Шопен, но что он не может указать место, где они скрыты, не имея в руках пряди ее волос. Мадам Рубио в следующий раз принесла ему небольшую прядку ее волос, и он сказал, что деньги находятся в ее стенных часах. Так оно в действительности и оказалось. Пакет не был распечатан, и привратница объяснила свой поступок тем, что сначала она просто забыла отдать его, а потом уж ей было совестно и она боялась быть заподозренною в воровстве. Мадам Рубио говорит, что привратница, вероятно, рассчитывала на то, что Шопен скоро умрет и деньги останутся ей, но из осторожности не распечатывала пакет, думая, что Шопен может случайно узнать о посланных ему деньгах и тогда начнутся розыски. Конечно, достоверность всего этого эпизода находится под большим сомнением. Из присланных денег Шопен удержал себе только тысячу франков, а остальные послал назад мисс Стирлинг.

Последние месяцы своей жизни Шопен уже не мог ничем заниматься. Он был так слаб, что порой ему даже трудно было

говорить и он объяснялся жестами. За это время он очень пристрастился к чтению и любил, чтобы ему читали вслух. Один из его друзей рассказывает, что он часто читал ему отрывки из «Dictionnaire philosophique» [17] Вольтера и что Шопен восторгался их сжатым, резким языком и оригинальностью содержания. Особенно нравилась ему статья «О вкусе».

Перед смертью Шопен очень изменился. Он, этот капризный, слабый человек, всю жизнь так мучительно боявшийся смерти, с удивительным мужеством и спокойствием готовился к концу, как только осознал его неизбежную близость. Когда ему стало очень плохо, он позвал польского аббата Иеловича и долго говорил с ним. Сам Иелович следующим образом рассказывает о своем последнем свидании с ним: "…Я дал ему распятие, он крепко сжал его в своих руках, не говоря ни одного слова. Крупные слезы текли из его глаз. «Верите ли вы?» – спросил я его. «Да, так, как меня учила моя мать». И с глазами, устремленными на распятие, он начал свою исповедь. Тотчас после причастия он выразил желание, чтобы причту было заплачено в двадцать раз более того, что ему обыкновенно полагается. Когда я сказал ему, что это будет слишком много, он ответил: «Нет, нет, это не слишком много. То, что я получил, ничем не может быть оплачено».

Лист, со слов Зеловского, рассказывает, что после исповеди Шопен обнял аббата и сказал: «Спасибо вам, теперь я по крайней мере не умру как свинья».

Квартира Шопена постоянно была наполнена его многочисленными друзьями и поклонниками, приходившими справляться о его здоровье. Они по несколько человек допускались в комнату, где лежал больной. Шопен страшно мучился припадками удушья и от времени до времени приподнимался на своей постели, поддерживаемый кем-нибудь из присутствующих. В таком положении ему легче было дышать. Уход за больным лежал главным образом на его старшей сестре, специально ради этого приехавшей из Польши, и на его ученике Гутмане, проводившем дни и ночи у постели больного. Им помогала княгиня Чарторижская, бывшая одним из самых верных и преданных друзей Шопена. Еще некоторые из его близких друзей иногда старались облегчать труд этих трех лиц, но большинство из них оставались в соседних комнатах и даже не показывались больному.

Узнав о болезни Шопена, Жорж Санд решилась навестить его, но друзья не допустили ее к нему, боясь, что слишком сильное волнение тяжело отразится на его состоянии. Между тем Шопен очень скучал без нее и хотел ее видеть. За несколько дней до смерти он со слезами на глазах говорил Франшомму: «Она

говорила мне, что не даст мне умереть без нее, что я умру у нее на руках».

Агония продолжалась четверо суток. Рассказывают, что Шопен сам почувствовал ее приближение. Он сидел на постели, опираясь на плечо друга, и долго молчал. Молчание внезапно было прервано словами: «Вот начинается агония». Доктор, щупавший его пульс, стал говорить ему какие-то банальные утешения, он прервал его: *«Бог оказывает человеку величайшую милость, открывая ему минуту, когда наступает смерть. Мне он оказал эту милость. Не мешайте мне».* Эти слова были сказаны таким твердым и спокойным тоном, что никто из присутствовавших не решился возражать ему.

Пятнадцатого октября, накануне смерти, Шопен чувствовал себя немного лучше. В этот день его навестила графиня Потоцкая, приехавшая из Ниццы специально для того, чтобы повидаться со своим больным другом. Шопен очень ей обрадовался и слабым, прерывающимся голосом сказал: «Теперь я знаю, почему Бог так долго не брал меня к себе: Он хотел доставить мне радость еще раз увидеть вас». Шопен и на смертном одре оставался рыцарски любезным и приветливым человеком. Поздоровавшись со своей гостьей, он тотчас же начал просить ее спеть ему что-нибудь. У графини Потоцкой был прекрасный голос, и Шопен очень любил слушать ее пенье. Из другой комнаты внесли рояль и поставили его у постели умирающего. Графиня, делая над собой усилия, чтобы не разрыдаться, начала петь гимн Страделлы. Шопен лежал неподвижно, закрыв глаза, и казался совершенным мертвецом. Но когда она кончила, он открыл глаза и стал ее просить спеть еще что-нибудь. Она запела псалом Марчеллы, но вскоре пенье ее было прервано хрипами умирающего. Рояль тотчас же вынесли из комнаты, и все поспешили уйти, оставив больного одного с доктором и с аббатом. Все присутствовавшие рассказывали, что эта сцена производила потрясающее впечатление: то было последнее прощание великого артиста с искусством, которому он служил всю свою жизнь.

Всю ночь Шопен провел в страшных мучениях, но утром 16 октября ему опять стало несколько легче. Он позвал к себе в комнату всех пришедших справиться о его здоровье и простился с ними. Для каждого у него нашлось какое-нибудь ласковое слово. Он познакомил свою любимую ученицу m-lle Гавар с княгиней Чарторижской и сказал им: «Вы будете вместе заниматься музыкой и вспоминать обо мне, а я буду вас слушать». Своему другу Франшомму он сказал: «Играйте Моцарта в память обо мне». Последние мысли его опять-таки была направлены к музыке.

К вечеру он стал просить, чтобы ему читали отходную. Он лежал совершенно неподвижно, и только по легкому приподниманию и опусканию груди можно было заключать, что он жив. Доктора думали, что он уже потерял сознание. Один из них нагнулся к нему и спросил, страдает ли он. Шопен совершенно явственно ответил: «Plus» [18]. Это было его последнее слово.

В три часа ночи он умер.

Шопена похоронили на кладбище Père-Lachaise, около Беллини и Керубини. Незадолго до смерти он говорил, что хочет быть похороненным в том платье, в котором он выступал в концертах, и это желание его было исполнено. На похороны его приехало много людей из разных далеких мест. Между прочим, приехала из Лондона мисс Стирлинг.

Друзья Шопена вскоре после его смерти собрали деньги для его памятника, и комитет художников и скульпторов, под председательством Делакруа, разработал очень красивый проект памятника. На передней стороне его изображена плачущая муза, у ног которой лежит разбитая лира. Этот памятник был поставлен над его могилой.

Источники

1. *Karosovsky.* Chopin, sein Leben, seine Werke und Briefe.
2. *F. List.* Frederic Chopin.
3. *Niecks.* Frederic Chopin (2 v.).
4. *Schumann.* Briefe über Musik und Musiker.
5. *George Sand.* Histoire de ma vie.

notes

Примечания

1

чудо-ребенка, вундеркинда (*фр.*)

успех, обусловленный уважением к автору (или исполнителю), а не достоинствами произведения (или исполнения)

3

Этот концерт был написан в 1823 году, но напечатан только в 1836 году, после E-moll концерта, напечатанного в 1833 году. Поэтому, хотя он был написан раньше, он называется вторым

ансамблевой музыки

5

«Прощание» (*фр.*)

6

«Зима в Майорке» (*фр.*)

7

Какие смелые бархатные пальчики *(фр.)*

8

Вальс собачки *(фр.)*

профессиональная ревность *(фр.)*

10

У отца одного из учеников Шопена сохранилось его письмо, в котором он просит заплатить ему вперед за 5 уроков (100 франков), у этого человека, зарабатывавшего несколько десятков тысяч франков в год, иногда не хватало такой ничтожной суммы, как 100 франков (около 40 рублей)

11

Одна из его любимых учениц, мадам Дюбуа, рассказывает, что когда она однажды дала ему деньги за целый ряд уроков, он отказался от них и взял только 20 франков, которые записал на ее имя в число пожертвований в пользу бедных поляков

12

Манера прикосновения к музыкальному инструменту во время исполнения

13

Лунной сонаты *(нем.)*

туда, туда *(нем.)*

заурядно больной *(фр.)*

16

Так звали героиню последнего романа Жорж Санд «Лукреция Флориани», о котором уже была речь выше

«Философский словарь» *(фр.)*

18

Больше нет *(фр.)*